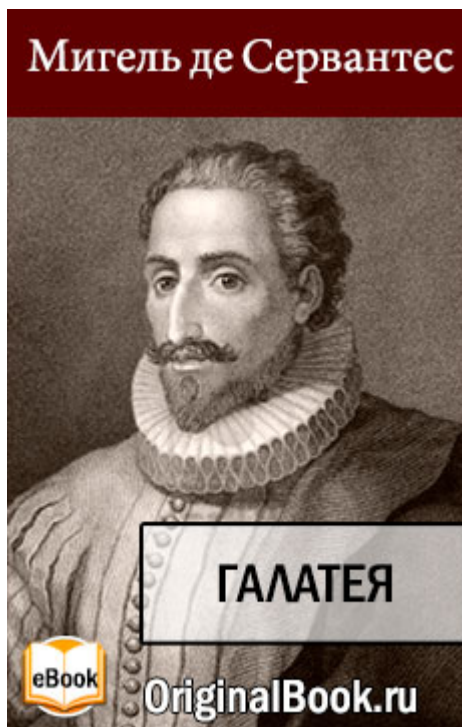


**Мигель де Сервантес. Галатея**

1585

«Галатея» - первое крупное произведение [М. де Сервантеса](#), опубликованное в 1585 году.

"Галатею" обычно относят к жанру пасторального романа, хотя такая классификация не совсем точна.

Действительно, персонажи романа - пастухи и пастушки, но целью Сервантеса было не столько рассказать об их влюбленности, сколько изучить психологию их любви.

«Галатея» Сервантеса на испанском языке: [La Galatea](#)

Ebook: [originalbook.ru](http://originalbook.ru)

## Галатея. Мигель де Сервантес

### Послание к Матео Васкесу<sup>1</sup>

Дрожа от холода, во тьме ночной  
Досель бродил я, и меня в болото  
Привел мой путь пустынною тропой,

Я оглашаю стонами без счета  
Тюрьму, куда меня забросил рок,  
Захлопнув пред надеждою ворота.

Переполняет слез моих поток  
Пучину моря, от моих стенаний  
Мутнеют в небе запад и восток.

Сеньор, полна неслыханных страданий  
Жизнь эта средь неверных дикарей;  
Тут – смерть моих всех юных упований.

Но брошен я сюда судьбой моей  
Не потому, что без стыда по свету  
Бродяжил я, как вор и лиходеи.

Уже десятое минуло лето,<sup>2</sup>  
Как я служу на суше и в морях  
Великому Филиппу шпагой этой.

И в тот счастливый день, когда во прах  
Развеял рок враждебную армаду,<sup>3</sup>  
А нашей, трепет сеявшей и страх,

---

<sup>1</sup> Это «Послание», написанное Сервантесом на втором году алжирского плена, было обнаружено лишь в XIX веке. Подлинник утерян. Адресуя «Послание» одному из министров Филиппа II, Матео Васкесу, автор сообщает о своих деяниях на суше и на море и в заключение выдвигает план всеобщего восстания рабов в Алжире при поддержке испанской армии извне.

Ответа на послание Сервантес не получил.

Из восьмидесяти одной терцины подлинника мы помещаем пятьдесят одну.

<sup>2</sup> *Уже десятое минуло лето...* – В 1569 году Сервантес отправился в Рим в свите Аквавивы, посла папы Пия V. Он недолго оставался у него на службе и через год, в начале 1570 года, поступил в армию. «Послание к Матео Васкесу» писано в Алжире в 1577 году. Оно было отправлено в Испанию с братом Сервантеса Родриго, за которого был внесен выкуп родителями.

<sup>3</sup> *Развеял рок враждебную армаду...* – Сражение при Лепанто 7 октября 1571 года привело к поражению турецкого флота и сокрушению могущества турок на Средиземном море.

Великую победу дал в награду,  
Участье в битве принимал и я,  
Хоть слабым был бойцом, признаться надо.

Я видел, как багровая струя  
Горячей крови красила пучину, –  
Смешалась кровь и вражья и своя.

Я видел, как над водною равниной  
Носилась смерть, неистово ярясь,  
И тысячам бойцов несла кончину.

Я видел также выраженье глаз  
У тех, которые в огне и пене  
Встречали с ужасом свой смертный час.

Я слышал стоны, жалобы и пени  
Тех, кто, кляня безжалостность судьбы,  
Изнемогали от своих ранений.

Уразуметь, каков исход борьбы,  
Они могли в последнее мгновенье,  
Услышавши победный глас трубы.

То возвещало о конце сраженья  
И о разгроме мавританских сил  
Великое христово ополчение.

Мне праздником тот миг счастливый был.  
Сжимал я шпагу правою рукою,  
Из левой же фонтан кровавый бил.

Я чувствовал: невыносимо ноя,  
Рука готова изнемочь от ран,  
И грудь от адского пылает зноя.

Но, видя, что разбит неверных стан  
И празднуют победу христиане,  
Я радостью такой был обуян,

Что, раненный, не обращал вниманья  
На то, что кровь из ран лилась рекой,  
И то и дело я терял сознание.

Однако этот тяжкий опыт мой  
Не помешал мне через год пуститься  
Опять туда, где шел смертельный бой.<sup>4</sup>

Я вновь увидел варварские лица,  
Увидел злой, отверженный народ,  
Который гибели своей страшится.

Я устремился в край преславный тот,<sup>5</sup>  
Где память о любви Дидоны властной  
К троянцу-страннику досель живет.

Паденье мавров лицезреть так страстно  
Хотелось мне, что я пустился в путь,  
Хоть раны были все еще опасны.

Я с радостью – могу в том присягнуть –  
Бойцов убитых разделил бы долю,  
Там вечным сном уснул бы где-нибудь.

Не такова была судьбины воля,  
Столь доблестно окончить не дала  
Она мне жизнь со всей ее недолей.

Рука насилия меня взяла;  
Был побежден я мнимою отвагой,  
Которая лишь похвальбой была.

Я на галере «Солнце» – не во благо  
Она с моим связала свой удел –  
Погиб со всею нашею ватагой.<sup>6</sup>

Сначала наш отпор был тверд и смел;  
Но слишком люты были вражьи силы,

---

4 *...опыт мой не помешал мне через год пуститься опять туда, где шел смертельный бой.* – Раненый Сервантес был отправлен на излечение в Мессину, где оставался по март 1572 года. Из одного документа известно, что в октябре 1574 года он находился в Палермо. В том же году он вернулся в армию.

5 *...край преславный тот, где память о любви Дидоны... досель живет.* – Речь идет об африканском побережье. В «Энеиде» Вергилия основательница Карфагена Дидона кончает жизнь на костре из-за того, что любимый ею Эней, повинаясь воле богов, покинул ее.

6 *Я на галере «Солнце»... погиб со всею нашею ватагой.* – 20 сентября 1575 года Сервантес выехал вместе с братом Родриго на галере «Солнце» из Неаполя на родину. Галера подверглась у берегов Франции нападению пиратов. Экипаж отчаянно защищался, но силы были неравные, Родриго попал в руки Рамадан-паши, Сервантес – в руки Али-мами.

Чтоб он в конце концов не ослабел.

Познать чужого ига бремя было  
Мне, видно, суждено. Второй уж год  
Я здесь томлюсь, кляня свой плен постылый.

Не потому ль неволи тяжкий гнет  
Меня постиг, что сокрушался мало  
Я о грехах своих, чей страшен счет?

Когда меня сюда судьбой пригнало,  
Когда в гнездовье это прибыл я,  
Которое пиратов тьму собрало,

Стеснилась отчего-то грудь моя,  
И по лицу, поблекшему от горя,  
Вдруг слезы покатались в три ручья.

Увидел берег я и то нагорье,  
Где водрузил великий Карл свой стяг,  
И яростно бушующее море.

Будил в нем зависть этот гордый знак  
Испанского могущества и славы,  
И потому оно бурлило так.

Перед картиной этой величавой  
Стоял я, горестной объят тоской,  
Со взором, застланным слезой кровавой.

Но если в заговор с моей судьбой  
Не вступит небо, если не в неволе  
Мне суждено окончить путь земной

И я дождусь от неба лучшей доли,  
То ниц паду перед Филиппом я  
(Коль в том помочь мне будет ваша воля)

И, выстраданной мысли не тая,  
Все выскажу ему я откровенно,  
Хоть будет неискусной речь моя.

«О государь мой, — молвлю я смиренно, —  
Ты строгой власти подчинил своей

Безбожных варваров полувселенной,

Всечасно от заморских дикарей  
К тебе идут послы с богатой данью. —  
Так пусть же в царственной душе твоей

Проснется грозное негодование  
На тот народ, что смеет до сих пор  
Тебе оказывать непослушанье.

Он многолюден, но врагу отпор  
Дать не способен: нет вооруженья,  
Нет крепостей, нет неприступных гор.

Я убежден: одно лишь приближенье  
Твоей армады мощной ввергнет в страх  
И бросит в бегство всех без исключения.

О государь, ключи в твоих руках  
От страшной и безжалостной темницы,  
Где столько лет в железных кандалах

Пятнадцать тысяч христиан томится.  
К тебе с надеждою обращены  
Их бледные, заплаканные лица.

Молю тебя: к страдальцам без вины  
Отеческое прояви участие, —  
Их дни и ночи тяжких мук полны.

Теперь, когда раздоры злые, к счастью,  
Утихли все и снова, наконец,  
Край под твоею процветает властью,

Ты заверши, что начал твой отец  
Так смело, доблестно, и новой славой  
Украсишь ты державный свой венец.

Спешి же предпринять поход сей правый.  
Верь, государь: один лишь слух о нем  
Повергнет в прах разбойничью ораву».

Я так скажу, и нет сомненья в том,  
Что государь ответит благосклонно

На стоны страждущих в краю чужом.

Изобличил свой ум непросвещенный,  
Быть может, низким слогом речи я,  
К особе столь высокой обращенной,

Но оправданьем служит мне моя  
Горячая об узниках забота.  
Послание кончаю, – ждет меня

Проклятая на варваров работа.

### К любознательным читателям

Боюсь, что писание эклог<sup>7</sup> в наше, в общем весьма неблагоприятное для поэзии, время будет признано малопочтенным занятием, а потому мне, в сущности, следовало бы представить удовлетворительные объяснения тем из моих читателей, которые все, что не отвечает врожденной их склонности, расценивают как даром потраченное время и труд. Однако, памятуя о том, что с людьми, замыкающимися в столь тесные рамки, спорить бесполезно, я обращаюсь к иным, беспристрастным, читателям: с полным основанием не усматривая разницы между эклогой и поэзией народной, они вместе с тем полагают, что те, кто в наш век посвящает ей свои досуги, поступают опрометчиво, издавая свои писания, и что их побуждает к этому страсть, которую обычно питают авторы к своим сочинениям, – я же со своей стороны могу на это сказать, что склонность к поэзии была у меня всегда и что возраст мой, едва достигший зрелости, думается, дает мне право на подобные занятия. К тому же никто не станет отрицать, что такого рода упражнения, в былое время по справедливости столь высоко ценившиеся, приносят немалую пользу, а именно: они открывают перед поэтом богатства его родного языка и учат его пользоваться для прекрасных своих и возвышенных целей всеми таящимися в нем красотами с тем, чтобы на его примере умы ограниченные, усматривающие предел для кастильского словесного изобилия в краткости языка латинского<sup>8</sup>, поняли, наконец, что перед ними открытое, широкое и плодородное поле, по которому они могут свободно передвигаться, наслаждаясь легкостью и нежностью, важностью и великолепием нашего языка и постигая многообразие тех острых и тонких, важных и глубоких мыслей, что по неизреченной милости неба плодovitый испанский гений столь щедро повсюду

---

<sup>7</sup> *Эклога* – в эпоху Сервантеса общее определение для различных произведений пасторального жанра.

<sup>8</sup> *...умы ограниченные, усматривающие предел для кастильского словесного изобилия в краткости языка латинского...* – Схоластическая поэтика того времени разрешала писать на родном языке только в среднем и низком стилях, высокий стиль являлся монополией латинского языка. Сервантес решительно восстает против этого канона. См. слова Дон Кихота (ч. II, гл. XVI).

рождал и продолжает всечасно рождать в счастливый наш век, чему я являюсь нелицеприятным свидетелем, ибо знаю таких, у которых есть все основания для того, чтобы без той робости, какую испытываю я, благополучно пройти столь опасный путь. Однако же трудности, возникающие перед людьми, неизбежны и многообразны, их цели и дела различны, – вот отчего одним придает храбрости жажда славы, другие же, напротив, страшась бесчестия, не осмеливаются издавать то, что, сделавшись всеобщим достоянием, обречено предстать на суд черни, опасный и почти всегда несправедливый. Я лично не из самонадеянности дерзнул выпустить в свет эту книгу, а единственно потому, что до сих пор не решил, какая из двух крайностей хуже: легкомысленно выказывать дар, коим тебя наградило небо, и предлагать незрелые плоды своего разума отечеству и друзьям, или же, проявляя чрезвычайную щепетильность, кропотливость и медлительность, вечно будучи недоволен тем, что у тебя задумано или же сделано, находя удачным лишь то, что не доведено до конца, так никогда и не отважиться выдать в свет и обнародовать свои писания. Ведь если излишняя смелость и самонадеянность могут быть осуждены как непозволительная дерзость, на которую подбивает человека самомнение, то не менее предосудительны крайняя медлительность и неуверенность в себе, ибо тогда те, кто ждет и чает помощи и достойного примера, дабы усовершенствоваться в своем искусстве, слишком поздно или даже совсем не воспользуются плодами разума твоего и трудов. Из боязни впасть в какую-либо из этих крайностей я не издавал до сих пор этой книги, но и не хотел долго держать ее под спудом, оттого что сочинял я ее отнюдь не только для собственного удовольствия. Мне хорошо известно, что всякое нарушение того стиля, коего в сем случае должно придерживаться, вызывает нарекания, – даже столп поэзии латинской подвергся нападкам за то, что некоторые его эклоги написаны более высоким стилем, нежели другие, – а потому меня не очень смутит обвинение в том, что я перемешал философические рассуждения пастухов с их любовными речами и что порою мои пастухи возвышаются до того, что толкуют не только о деревенских делах, и притом с присущей им простотою. Если принять в соображение, – а в книге я на это не раз намекаю, – что многие из моих пастухов – пастухи только по одежде, то подобное обвинение отпадет само собой. Что же до недостатков в изобретении и расположении, то да простит их рассудительный читатель, который пожелает к книге моей отнестись непредвзято, и да искупит их желание автора по мере сил своих и возможностей ему угодить; если же эта книга надежды автора не оправдает, то в недалеком будущем он предложит вниманию читателя другие, более занимательные и более искусно написанные.

## Два друга

Все пастухи столь мелодично на инструментах своих заиграли, что одно наслаждение было их слушать, и в тот же миг, словно в ответ им, божественною гармонией зазвучали хоры великого множества птиц, ярким



своим опереньем сверкавших в густой листве. Так шли некоторое время пастухи, пока не заметили давным-давно прорытую в горе пещеру, находившуюся совсем близко от дороги, а потому они явственно различили звуки арфы, на которой играл некий пещерный житель, и тут Эрастро, прислушавшись, молвил:

– Остановитесь, пастухи! Сегодня, кажется, все мы услышим то, что я вот уже несколько дней мечтаю услышать, а именно – пение одного милого юноши, который недели две тому назад здесь поселился и ведет столь суровую жизнь, какую, по моему разумению, в его молодые лета вести не должно, и когда мне случалось проходить мимо, до меня доносились звуки арфы и до того сладкое пение, что мне хотелось слушать его еще и еще, однако ж всякий раз я заставлял лишь конец песни. И сколько я ни заговаривал с юношей и сколько ни старался войти к нему в дружбу, обещая сделать для него все, что только в моих силах, он так и не сказал мне, кто он таков и что принудило его в столь юные годы полюбить одиночество и бедность.

Рассказ Эрастро о юном отшельнике вызвал и у других пастухов желание узнать, что с ним приключилось, и они порешили сперва подойти так, чтобы он их не увидел, к пещере и послушать его пение, а потом уже начать с ним разговор. И тут им посчастливилось найти укромное место, где они, оставшись незамеченными, и прослушали все, что пребывавший в пещере под звуки арфы выразил в этих стихах:

Хоть чист я перед ними – бог крылатый  
И небеса злорадно  
Меня карают пыткой ужасной.  
Нет отклика на стон мой безотрадный,  
И, горестью объятый,  
Горé взношусь я мыслями напрасно,  
О жребий мой злосчастный!  
Какие чары превратить сумели  
Жизнь, бывшую доселе  
Отрадой для меня, в такую муку,  
Что смерти протянуть готов я руку?

Себе постыл я тем, что муки ада  
Терплю, а грудь стенанья  
Мои не рвут, узилища земного  
Не покидает слабое дыханье.  
Которому пощада  
Оказана судьбой моей суровой.  
И вот приходит снова  
Надежда лживая и вновь мне силу  
Дает нести страданий груз постылый.  
Жестоко небо: множа суток звенья,

Оно нам умножает и мученья.

Увы! Сердечные терзанья друга  
Мне душу размягчили,  
И тяжкое я принял порученье.  
О горькая тщета моих усилий!  
О мрачная услуга!  
О смешанное с радостью мученье!  
К другим на удивленье  
И щедр и благ бессмертный сын Венеры<sup>9</sup>,  
Ко мне же свыше меры  
Он скуп и полон милости холодной.  
Но то ли друг претерпит благородный?

Как часто наши лучшие порывы  
Кончаются смятеньем!  
Так платишь ты за них, судьба лихая.  
О бог любви! Ты также с наслажденьем  
Глядишь, как дни тоскливо  
Влачит влюбленный, чуть не умирая.  
Тебя я проклиная!  
Пускай твои охватит крылья пламя  
И твой колчан, стрелами  
Наполненный, пускай сожжет, а стрелы,  
Что не сгорят, в твое вопьются тело.

Каким обманом, хитростью какою,  
Каким путем окольным  
Ты мною овладел, коварный гений?  
Как мог я стать предателем невольным  
Своих благих стремлений?  
Что было мне обещано тобою?  
Что я смогу в покое  
Свободным созерцаньем насладиться  
И на твои деянья подивиться.  
Меж тем, о лжец, мне шею  
Ты цепью, чувствую, сдавил своею.

А впрочем, не тебя винить мне надо, —  
Я сам всему виною:  
Я не дал твоему огню отпора,  
Я допустил, чтоб вышел из покоя

---

<sup>9</sup> Бессмертный сын Венеры — то есть Амур. Художники изображали его в виде ребенка с луком, стрелами, колчаном и факелом.

И, руша все преграды,  
Поднялся ветер, гибельнее мора.  
Теперь по приговору  
Разгневанного неба умираю.  
Но я боюсь, лихая  
Судьба моя не даст, чтобы могила  
Мои страстные муки прекратила.

Бесценный друг мой, Тимбрио любимый,  
И ты, моя врагиня,  
Прелестнейшая Нисида, несчастья  
И счастье смесь вкушающие ныне!  
Какой разлучены мы  
Звездой жестокой, чьей бездушной властью?  
Увы, перед напастью  
Бессилен смертный! В тяжкое страданье  
Вмиг может превратиться ликование,  
Как после дня погожего, сметая  
Красу его, приходит ночь глухая.

На что мы можем в жизни положиться?  
Царит над нами всеми  
Закон непостоянства. Вдаль несется  
На легких, бысролетных крыльях время,  
И вслед за ним стремится  
Надежда тех, кто плачет и смеется.  
А ежели прольется  
С небесной выси милость, – благотворна  
Лишь тем она, кто, непритворной  
Сожжен любовью, дух свой ввысь возносит;  
Другим она скорей лишь вред приносит.

Я, боже, возношу благочестиво  
Свои ладони, взоры  
И все души измученной порывы  
В надзвездный край, который  
Плач горький превращает в смех счастливый.

Вместе с последними звуками жалостной песни из груди пребывавшего в пещере отшельника вырвался глубокий вздох; тогда пастухи, убедившись, что он умолк, тотчас вошли все вместе в пещеру и увидели сидевшего в углу, прямо на жестком камне, милого и приятного юношу лет двадцати двух, в домотканой одежде, босого, подпоясанного грубой веревкой, заменявшей ему ремень. Голова у него свесилась набок, одною рукой он держался за сердце, другая же

была бессильно опущена вниз. Найдя его в таком состоянии и заметив, что, когда они вошли, он не пошевелился, пастухи догадались, что юноше дурно, и они не ошиблись, ибо, вновь и вновь возвращаясь мыслью к своим несчастьям, он почти каждый раз доходил до обморока. Как скоро к нему приблизился Эрастро и взял его за руку, он очнулся, однако же вид у него был до того растерянный, словно он припоминал тяжелый сон, каковые знаки немалой печали опечалили вошедших, и тут Эрастро сказал:

– Что с вами, сеньор? Какая печаль теснит измученное ваше сердце? Не таитесь, – ведь перед вами тот, кого не устрашат никакие муки, лишь бы вас ему избавить от мук.

– Не в первый раз, любезный пастух, обращаешься ты ко мне с этим предложением, – слабым голосом заговорил юноша, – и, верно, не в последний приходится мне от него отказываться, ибо судьба устроила так, что ни ты не можешь быть мне полезен, ни я, при всем желании, не могу воспользоваться твоими услугами. Прими же слова мои как дань благодарности за твою доброту, и если ты еще что-либо желаешь знать обо мне, то время, от коего ничто не скроется, скажет тебе даже больше, чем мне бы хотелось.

– Если вы предоставляете времени удовлетворить мое любопытство, – возразил Эрастро, – то подобное вознаграждение чрезмерно щедрым назвать нельзя, оттого что время, к нашему прискорбию, выдает самые заветные тайны наших сердец.

Тут пастухи принялись наперебой упрашивать юношу, чтобы он поведал им свою кручину, особенно Тирсис, который, приводя разумные доводы, объяснял ему и доказывал, что нет такого горя, коему нельзя было бы помочь, разве что смерть, гасительница человеческих жизней, преградит нам путь. К этому он присовокупил еще и другие доводы, после чего упорный юноша согласился удовлетворить всех, кто желал выслушать его историю, и обратился к пастухам с такими словами:

– Приятные собеседники! Хотя мне надлежало бы прожить остаток дней моих без вас и провести его в более строгом уединении, однако ж, дабы знали вы, сколь дорого мне ваше участие, решаюсь я рассказать вам все, что почту нужным, – рассказать, как довела меня своенравная Фортуна до того жалкого положения, в коем я нахожусь ныне. Но как час теперь должен быть довольно поздний, злключениям же моим нет числа и, прежде нежели я кончу свой рассказ, нас может застигнуть ночь, то лучше нам всем отправиться в деревню; я намеревался пойти туда завтра утром, но могу совершить этот путь и сейчас: ведь мне все равно нужно быть в вашей деревне, – там я достаю себе пропитание, – и дорогой я поведаю вам, как сумею, все мои горести.

Слова юного отшельника всем пришлись по душе; взяв его с собою, пастухи неспешным шагом двинулись по направлению к деревне, и тут несчастный начал рассказ о своих невзгодах:

– В старинном и славном городе Хересе, коего жители особым покровительством Минервы и Марса пользуются<sup>10</sup>, родился Тимбрио,

<sup>10</sup> В... городе Хересе, коего жители особым покровительством Минервы и Марса пользуются... – Минерва – олицетворение мудрости и силы, покровительница государств и городов; Марс – бог войны; Херес – один из

отважный кавальеро, чьи добродетели и величие духа было бы мне весьма затруднительно описать. Довольно сказать, что то ли редкая его доброта привлекла меня к нему, а может статься, таково было влияние светил небесных, только я приложил все усилия, дабы сделаться самым близким его другом, и небо явило мне столь великую милость, что вскоре многие, словно забыв, что его зовут Тимбрио, а меня – Силеро, стали называть нас просто *два друга*, мы же, всюду появляясь вместе и оказывая взаимные услуги, старались оправдать это название. Так, в неопикуемой радости и веселии, проводили мы юные свои годы, то выезжая в поле, на охоту, то в городе, в потехах досточтимого Марса участие принимая<sup>11</sup>, как вдруг случилась одна из многих бед, коих свидетелем поставило меня безжалостное время, а именно: у друга моего Тимбрио произошла крупная ссора с одним могущественным кавальеро, жителем того же города. Дело кончилось тем, что честь кавальеро была задета, и Тимбрио, дабы умирить яростную вражду, уже вспыхнувшую между их семьями, принужден был уехать, оставив письмо, в коем он уведомлял своего недруга, что когда тот, как истинный кавальеро, захочет потребовать у него удовлетворения, то найдет его в Италии, в городе Милане или же в Неаполе. Раздоры между семьями обоих тотчас утихли; решено было, что оскорбленный кавальеро, Прансилесом именовавшийся, вызовет Тимбрио на смертный и честный бой и, выбрав подходящее место, даст ему знать. Тогда же решилась и моя участь, ибо в то самое время, когда происходили эти события, меня сразил жестокий недуг, так что я почти не вставал со своего ложа и по этой причине не мог сопровождать Тимбрио куда бы то ни было, – Тимбрио же перед отъездом, к немалому своему огорчению, со мною простился, взяв с меня слово, что как скоро я окрепну, то отправлюсь в Неаполь, и с тем он и уехал, оставив меня в столь глубоком горе, что мне не под силу будет теперь его описать. Однако ж спустя несколько дней, едва желание видеть его превозмогло мою немощь, я, не теряя ни минуты, отбыл. И, дабы сделать мой путь возможно более кратким и верным, судьба в виде особой удачи послала мне четыре галеры: они стояли у славного острова Кадиса оснащенные и готовые к отплытию в Италию. Я сел на одну из них, и благодаря попутному ветру в скором времени мы могли уже различить очертания берегов каталонских. А как морское путешествие несколько утомило меня, то, когда наше судно причалило к ближайшей гавани, я, удостоверившись прежде, что нынче ночью галеры никуда отсюда не уйдут, в сопровождении одного моего приятеля и слуги сошел на берег. Однако еще не наступила полночь, как моряки и путешественники, видя, что безоблачное небо предвещает тишину или попутный ветер, во время второй вахты, дабы не упустить благоприятного случая, подали знак к отплытию, в мгновение ока выбрали якоря, погрузили весла в тихую воду и подставили паруса дуновению легкого ветра. И все это, повторяю, с такою поспешностью было проделано,

---

древнейших городов Испании, в начальную эпоху Реконкисты (отвоевания у мавров испанских территорий) в силу своего географического положения играл роль форпоста, неоднократно переходившего из рук в руки.

11 ...в потехах досточтимого Марса участие принимая... – то есть в военных упражнениях.

что, сколько я ни торопился, а все же к отплытию опоздал и остался стоять на берегу, мучимый досадой, которую способен понять лишь тот, кто побывал в моем положении, ибо под рукой у меня не оказалось многого из того, что необходимо путешественнику, желающему двигаться сушей. Полагая, однако ж, что от сидения на берегу большого проку ждать нечего, рассудил я за благо возвратиться в Барселону: Барселона – город большой, – думалось мне, – быть может, мне посчастливится встретить там человека, который снабдит меня всем, чего мне недостает, распоряжение же об уплате долга я перешлю моему доверенному лицу в Хересе или в Севилье.

Сия надежда придала мне бодрости, и, решившись привести замысел свой в исполнение, я ждал лишь, чтобы стало светлее, но не успел я собраться в дорогу, как земля кругом загудела, и я увидел, что по главной улице города валит народ; когда же я спросил, что случилось, мне ответили: «Идите, сеньор, вон до того перекрестка, – там вы все узнаете у глашатая». Так я и сделал, и первое, что меня поразило, это – огромное распятие и рев толпы: явные признаки того, что ведут приговоренного к смерти, каковое предположение оказалось справедливым, ибо глашатай объявил, что за грабеж и разбой суд приговорил одного человека к повешению, и в этом человеке, когда его провели мимо меня, я сейчас узнал милого моего друга Тимбрио: он шел со связанными руками, с петлей на шее и, впиваясь глазами в распятие, которое несли впереди, выражал свое негодование шедшим с ним рядом священникам, призывал в свидетели истинного бога, – того, кому он вскоре намеревался принести полное покаяние и чей образ находился у него перед глазами, – что никогда за всю свою жизнь не совершал он преступления, которое влекло бы за собою позорную казнь на глазах у всего города, и молил умолить судей отсрочить ее, дабы он мог доказать свою невиновность.

Вообразите себе, если только воображение ваше на это способно, что должен был испытывать я, когда ужасное зрелище открылось моим глазам. Одно могу сказать вам, сеньоры, что я оцепенел, я ничего не видел и не слышал, все чувства во мне притупились, так что мраморною статуей, верно, казался я тем, кто смотрел на меня в эту минуту. Однако мало-помалу слитный гул толпы, пронзительные крики глашатаев, жалостные слова Тимбрио и утешительные – священников, а также твердая уверенность в том, что я вижу перед собою милого моего друга, вывели меня из оцепенения; закипевшая кровь, поспешив на помощь к ослабевшему сердцу, пробудила в нем гнев, а вместе с гневом – великую жажду отомстить за нанесенное моему другу оскорбление, и я, думая не о грозившей мне опасности, а только о Тимбрио, желая спасти его или уж перейти вместе с ним в жизнь вечную и мало заботясь о сохранении собственной жизни, выхватил шпагу, вне себя от ярости ринулся в самую гущу смятенной толпы и пробился к Тимбрио, – он же, не зная, для какой цели обнажено столько шпаг, в горестном недоумении взирал на происходящее, пока я не сказал ему: «Где, о Тимбрио, сила твоего смелого духа? На что ты надеешься и чего ты ждешь? Зачем не воспользуешься ты представляющимся тебе случаем? Попытайся, о верный мой друг, спасти свою

жизнь, пока моя служит тебе щитом от несправедливости, жертву коей ты, как я полагаю, ныне собою являешь». Стоило мне произнести эти слова, стоило Тимбрио узнать меня – и он, забыв всякий страх, разорвал веревку, связывавшую его руки. Однако ж смелый этот поступок не привел бы ни к чему, когда бы движимые состраданием священники, желая помочь Тимбрио в осуществлении его намерения, не подняли его над толпой и, преодолев сопротивление тех, кто тщился воспрепятствовать этому, не унесли его в ближайшую церковь<sup>12</sup>, оставив меня среди стражей, настойчиво пытавшихся схватить смельчака, чего они в конце концов и достигли, ибо их собралось так много, что у меня неостало сил с ними бороться. И, нанеся мне столько оскорблений, сколько, по моему мнению, проступок мой не заслуживал, они меня, дважды раненного, препроводили в тюрьму.

Дерзость моего поведения, а также то обстоятельство, что Тимбрио удалось скрыться, усугубили мою вину в глазах судей и распалили их злобу; рассмотрев со всех сторон совершенное мною преступление, они сочли меня повинным смерти, тут же объявили мне жестокий приговор и назначили казнь на завтра. Сия печальная весть дошла до Тимбрио, когда он находился в церкви, и, как я узнал впоследствии, она взволновала его сильнее, нежели в свое время весть о том, что он сам приговорен к смерти, и, дабы спасти меня, возымел он намерение снова отдаться в руки правосудия. Священники, однако ж, заметили, что этим он цели не достигнет, напротив, это родит лишь новую беду и новое несчастье: меня он все равно, мол, не освободит и сам не избегнет наказания. Доводы эти были слишком слабы, чтобы убедить Тимбрио не отдаваться в руки правосудия, но он успокоился на ином решении, задумав сделать для меня завтра то же, что я для него сделал сегодня, отплатить мне тою же монетою или погибнуть, добиваясь моего освобождения. О замыслах его я узнал от священника, который явился меня исповедовать и которого он просил передать мне, что наилучшее средство выручить меня из беды – это бежать ему самому и попытаться как можно скорее уведомить о случившемся барселонского вице-короля, прежде нежели местные судьи приведут в исполнение свой приговор. Тут же уразумел я, за что друг мой Тимбрио был осужден на мучительную казнь, а дело, по словам того же священника, было так: ехал-ехал Тимбрио по каталонской земле, как вдруг однажды, в двух шагах от Перпиньяна, напала на него шайка разбойников, атаманом же их и главарем был некий доблестный каталонский кавальеро, который, не стерпев воздвигнутого на него гонения, ушел к разбойникам<sup>13</sup>, а в том краю так уж повелось издавна, что люди знатного рода, подвергшись гонению, становятся врагами общества и всем причиняют зло, не только убивая, но и грабя, то есть занимаясь делом, противным всякому истинному христианину, и вызывая в нем чувство глубокого сожаления.

---

12 ...унесли его в ближайшую церковь... – Церковь в то время гарантировала неприкосновенность личности тем, кто искал убежища в ее стенах.

13 ...каталонский кавальера... ушел к разбойникам... – Каталонские крупные землевладельцы, ущемленные ликвидацией крепостнических отношений, нередко собирали шайки, которые нападали на деревни и города.

Случилось, однако ж, так, что в ту самую минуту, когда разбойники принялись грабить Тимбрио, подоспел их атаман и предводитель, а как он все же был кавальеро, то и не мог он допустить, чтобы в его присутствии какая-либо обида Тимбрио чинилась; напротив, желая прослыть в его глазах человеком достойным и великодушным, он оказал ему всякого рода любезности и предложил провести с ним эту ночь в ближайшем селении, пообещав завтра утром выдать охранную грамоту, дабы он безбоязненно мог покинуть эти края. Не нашел возможным Тимбрио отказать учтивому кавальеро в его просьбе, ибо почитал его своим благодетелем и чувствовал себя перед ним в долгу. Оба сели на коней и вскоре прибыли в одно небольшое селение, коего жители радостно встретили их. Однако ж судьба, продолжавшая насмехаться над Тимбрио, распорядилась так, что в ту же ночь разбойников окружили солдаты, которых нарочно с этою целью отрядили и которые, застигнув шайку врасплох, без труда обратили ее в бегство, и хотя поймать главаря им так и не удалось, зато они взяли в плен и перебили много других; среди пленников оказался и Тимбрио, и его приняли за одного знаменитого разбойника из этой же шайки, на которого он, как видно, и впрямь был очень похож, ибо сколько другие пленники ни уверяли судей, что это не тот, кого они ищут, и ни рассказывали все как было, озлобленные судьи, не разобрав как следует дело, подписали ему смертный приговор, каковой они не замедлили бы привести в исполнение, если б небу, споспешествующему всяким благим намерениям, не угодно было, чтобы галеры ушли, а я, оставшись на суше, совершил все, о чем я вам уже рассказывал.

Словом, Тимбрио все еще находился в церкви, собираясь ночью бежать в Барселону, я же – в темнице, питая надежду на то, что ярость рассвирепевших судей утихнет, как вдруг надвинувшаяся на них самих более грозная опасность внезапно отвела угрозу от меня и от Тимбрио. Но нет, пусть бы небо на меня одного обратило ярый свой гнев, чем на этот маленький несчастный городок, подставивший беззащитную грудь остриям бесчисленных вражьих мечей! Было уже, наверное, за полночь – самое удобное время для разбойничьих нападений, час, когда трудовой люд простирает усталые члены на ложе мирного сна, – и вот, нежданно-негаданно, с улицы донесся неясный шум голосов, в коем, однако, можно было различить: «К оружию, к оружию, турки на нашей земле!» В сердце какой женщины не поселили бы страх сии зловещие голоса, и могли ли они не смутить даже сильных духом мужей? Словом, сеньоры, злосчастный городок в одно мгновение так дружно запылал, что, казалось, даже камни, из коих были сложены дома, являли собой вполне пригодную пищу для всепожирающего огня. Озаренные яростным пламенем, уже засверкали кровожадные ятаганы и замелькали белые чалмы остервенелых турок, выламывавших топорами двери, врывавшихся в дома и выходивших оттуда с пожитками христиан в руках. А иной тащил за собой обессиленную мать, иной – малое дитя, и те, издавая чуть слышные, слабые стоны, тщетно звали друг друга; иной святотатственною рукою разлучал новобрачных, препятствуя их законному стремлению продолжить свой род, и в этот миг заплаканным очам



несчастливого супруга, быть может, представлялось, что похищают плод его любви, коим в скором времени он мечтал насладиться. Это всеобщее смятение, этот многоголосый крик невольно повергали в страх и трепет. Хищный, бесноватый сброд, встретив слабое сопротивление жителей, осмелился проникнуть в святые храмы и, протянув поганые руки к святыням, сорвать украшавшее их золото, самые же святыни с ужасающим презрением швырнуть наземь. Священнику не служил более защитой его священный сан, иноку – уединение, старцу – почтенные седины, юноше – веселая младость, младенцу – чистота и невинность, – никого не пощадили окаянные псы и, спалив дома, разорив храмы, обесчестив девушек и умертвив защитников города, скорей усталые, нежели довольные поживой, с рассветом беспрепятственно возвратились на свои корабли, которые они уже успели нагрузить всем, что было ценного в городе, а город, между тем, был пуст и безлюден, оттого что большую часть жителей они увели с собою, прочие же скрылись в горах.

У кого сие печальное зрелище не исторгло бы слезы, кого не призвало бы оно на подвиг? Но увы! жизнь наша так бывает порой тяжела, что даже узнав о столь прискорбном событии, иные христианские души возликовали, и то были души тех, кто томился в темнице и кто на общем несчастье воздвигнул свое счастье, ибо, выломав тюремные двери и очутившись на воле, они, вместо того чтобы ринуться на защиту города и сразиться с неверными, помышляли о том, как бы спастись самим, и вместе с ними столь дорогою ценой обрел свободу и я. Убедившись, что никто не решается схватиться с неприятелем из боязни подпасть под его иго или же снова быть ввергнутым в узилище, я покинул разрушенный город и, испытывая острую боль как от всего, что мне довелось видеть, так и от нанесенных мне ран, тронулся в путь вместе с одним человеком, который взялся проводить меня до расположенного в горах монастыря, где, как он уверял, я не только залечу раны, но и найду защиту в случае, если меня снова попытаются схватить.

Итак, я последовал за этим человеком, томимый желаньем узнать о судьбе друга моего Тимбрио, но лишь много позднее мне стало известно, что он, отделавшись несколькими ранениями, бежал из города и что потом, другой горной тропой, а не той, которой шел я, ему удалось добраться до гавани Росас; там он провел несколько дней, стараясь узнать, что случилось со мною, и в конце концов, не получив никаких известий, сел на корабль, который благодаря попутному ветру и доставил его вскорости в великий город Неаполь. Я же вернулся в Барселону, запасся в дорогу всем необходимым, а затем, оправившись от ран, проследовал дальше, без всяких приключений доехал до Неаполя и нашел Тимбрио лежащим в постели, и как мы оба тогда обрадовались – этого никаким пером не опишешь. Мы дали друг другу полный отчет в том, что с нами произошло и что мы за это время испытали, однако ж радость моя омрачалась тем, что не в добром здравии застал я Тимбрио; напротив, вид у него был до того нездоровый и столь странный мучил его недуг, что, замешкайся я в пути, пришлось бы, пожалуй, не встречу с ним праздновать, а последний долг ему отдавать. Расспросив меня обо всем, он со

слезами на глазах молвил:

«О друг мой Силерьо! Я верю, что небо нарочно опутало меня цепью невзгод, дабы я, обрета спасение благодаря вашей самоотверженности, вечно чувствовал себя обязанным вам».

Слова Тимбрио тронули меня, но и удивили, ибо подобные учтивости были у нас с ним не приняты. Я не стану утруждать вас обстоятельным изложением того, что я ему на это ответил и что возразил он мне, – скажу только, что несчастный Тимбрио влюбился в одну знатную сеньору, проживавшую в этом городе, испанку по крови, но уроженку Неаполя. Звали ее Нисида, и была она так прекрасна, словно природа осыпала ее лучшими своими дарами, причем с ее красотой соперничала ее скромность, и что разжигала одна, то другая тотчас же охладить старалась, и те желания, какие прелесть ее до небес возносила, скромная ее степенность пригибала к земле. Оттого-то Тимбрио был столь же беден надеждами, сколь богат мечтами, оттого-то он и занемог и, не решаясь с ней объясниться, готовился к смерти, – так силен был почтительный страх, который внушала ему прелестная Нисида. Однако ж, сведав причину его недуга и удостоверившись в знатности и родовитости Нисиды, решился я пожертвовать для Тимбрио своим состоянием, жизнью, честью – всем, что только у меня есть, и пустился на такую необыкновенную хитрость, о которой вам, уж верно, не приходилось читать или слышать, а заключалась она вот в чем: задумал я вырядиться шутом и с гитарой в руках проникнуть в дом Нисиды, куда такие люди заходили часто, ибо это был один из самых богатых домов во всем городе. Выдумка моя пришлась Тимбрио по нраву, и с той минуты он всецело положился на мою предприимчивость. Тотчас нацепил я на себя множество разных одеяний и выступил на новом поприще перед Тимбрио, он же много смеялся, глядя на мой шутовской наряд, а затем, пожелав удостовериться, насколько искусство мое соответствует одежде, уговорился со мной, что он будет владетельный князь, а я, мол, еще раз войду и что-нибудь ему скажу. И если память мне не изменит и если вы, сеньоры, не устали меня слушать, то я спою вам мою песню точь-в-точь, как пел ее в тот раз.

Пастухи, признавшись, что ничем не мог бы Силерьо доставить им такое удовольствие, как повестью об этом своем походе, упростили его рассказать им все до мельчайших подробностей.

– Коль скоро есть на то ваше соизволение, – сказал отшельник, – то я не премину вам сообщить, с чего начал я безрассудную свою затею, и сейчас вы услышите песню, которую я пел, обращаясь к другу моему Тимбрио, изображавшему вельможу:

От государя, что искать  
Привык всегда пути благого,  
*Возможно ли чего иного,*  
*Чем дел небесных, ожидать?*

До наших дней со дня творенья,  
На протяженья тысяч лет,  
Республик не было и нет,  
Где было бы мудрей правленье,  
От мужа, что всегда сиять  
Желает благодатью христовой,  
*Возможно ли чего иного,  
Чем дел небесных, ожидать?*

От мужа, никогда к стяжанью  
Не устремлявшего мечты,  
Со взором, полным доброты,  
И с сердцем, полным состраданья;  
От мужа, чья душа отдать  
Себя на благо всех готова,  
*Возможно ли чего иного,  
Чем дел небесных, ожидать?*

Молва, что всюду, не смолкая,  
До неба превозносит вас,  
Всечастно убеждает нас  
В том, что у вас душа святая.  
От мужа, что не отступать  
От божьего умеет слова,  
*Возможно ли чего иного,  
Чем дел небесных, ожидать?*

От мужа с христианской славой,  
Который с карой не спешит,  
Но вместе с тем высоко чтит  
Священное законов право;  
Которому дано взлетать  
В края, что скрыты для другого,  
*Возможно ли чего иного,  
Чем дел небесных, ожидать?*

Эту и другие песенки, но только посмешней и позабавней, пел я тогда Тимбрио, стараясь придать движениям своим легкость и грацию, дабы все во мне изобличало заправского шута. Первые же мои представления прошли так удачно, что слух об испанском шуте распространился с быстротою молниеносною: спустя несколько дней обо мне уже прослышала вся городская знать, и, наконец, меня пожелали видеть родители Нисиды, каковое желание мне было весьма легко исполнить, однако ж я нарочно дожидался, когда меня позовут. Но как-то раз не устоял я против соблазна и явился к ним на

вечеринку, и тут предо мною предстала истинная виновница мучений Тимбрио, предстала та, что была создана небом, дабы отнять у меня радость дней, которые мне еще осталось прожить. Я увидел Нисиду, Нисиду увидел я, и больше уже ни на кого не смотрел, да и не в состоянии был смотреть. О всемогущая сила любви! Пред тобою бессильны даже сильнейшие духом! Возможно ли, чтобы так, разом, мгновенно, рухнули все столбы и подпорки, на коих держалась дружеская моя верность? О, если б я вовремя не оглянулся на себя, не вспомнил о своем постыдном обличье, о своей дружбе с Тимбрио и о той недостижимой высоте, на которой находилась Нисида! Словом, если б не все эти преграды, то нежданно вспыхнувшая страсть могла бы породить надежду на взаимность, а надежда – это посох, с которым любовь на первых порах движется вперед или же возвращается вспять. Итак, увидел я эту красавицу, видеть же ее мне было необходимо, и потому я всячески старался снискать расположение ее родных и близких, пленяя их своею благовоспитанностью и остроумием и выполняя свои обязанности со всею доступною мне тонкостью и обаянием. Когда же один из сидевших за столом кавальеро попросил меня что-нибудь спеть в честь красавицы Нисиды, то мне, к счастью, вспомнилась песня, которую я давно уже сочинил на такой же примерно случай, и, воспользовавшись ею для этого случая, начал я петь:

О Нисида! Вас небеса  
Создали с щедростью такою,  
Что ваша дивная краса  
Таит за прелестью земною  
Пределов горних чудеса.  
Вас наделило в день творенья  
Таким богатством провиденье,  
Что большего нельзя желать,  
И потому к вам обращать  
Мы можем наши восхваленья.

Но пред лицом таких красот  
Бессильно слово человечесь;  
Их славить может только тот,  
Кто неземной владеет речью.  
Он нужные слова найдет  
И скажет так: «Вполне уместно,  
Чтоб у души такой чудесной  
Таков же дивный был покров,  
Доселе испокон веков  
Земной юдоли неизвестный.

Он взял от солнечных лучей  
Волос роскошное сиянье,

Неотразимый блеск очей –  
От искрометного сверканья  
Созвездий в сумраке ночей.  
У червеца и снега смело  
Цвета забрал он горстью целой,  
Чтоб, радуя сынов земли,  
Ланиты у тебя цвели  
Лрасои пурпуровой и белой.

Двойной зубов прелестных ряд  
Из когти выточен слоновой,  
Кораллы губ огнем горят,  
И мудрости слова с них снова  
И снова стаями летят.  
Грудь – драгоценный мрамор белый.  
Красой сияющее тело  
Земле отраду глаз дарит,  
И небо с гордостью глядит:  
Вот что создать оно сумело».

Эта и другие вещицы, исполненные мною в тот день, слушателей моих привели в восхищение, особенно родителей Нисиды, и они, обещая наделить меня всем, в чем я имел нужду, просили приходить к ним ежедневно. Итак, хитрость моя никем не была обнаружена или заподозрена, а между тем ближайшей своей цели я достиг, то есть проник в дом Нисиды, которая, кстати сказать, была в восторге от моих шалостей. И вот мало-помалу постоянное общение мое с Нисидой, а также знаки особого расположения, оказываемые мне домашними ее, отчасти рассеяли тучи безумного страха, находившего на меня при мысли о предстоящем с ней объяснении, и решился я, наконец, попытать счастья для Тимбрио, который надеялся только на мое усердие. Но увы! Сам я тогда находился в столь плачевном состоянии, что, вместо того чтобы лечить других, мне было впору искать целебного средства для врачевания собственных язв, ибо прелесть, красота, величавость и рассудительность Нисиды породили в душе моей не менее пылкую страсть и не менее жгучую боль, чем в душе несчастного Тимбрио. Пусть ваше скромное воображение дорисует вам, что должно было чувствовать мое сердце, когда веления дружбы боролись в нем с велениями неумолимого Купидона – когда одни призывали исполнить то, чего они купно со здравым смыслом от него требовали, другие же, напротив, вынуждали его отдаться своему влечению. Эти тревоги душевные, эти всечасные распри с самим собою до того меня истерзали, что, не поправив здоровья друга моего, я только расстроил собственное свое здоровье и стал до того бледен и худ, что люди без сострадания не могли на меня смотреть; в особенности были ко мне внимательны родители Нисиды, и она сама из чистых и истинно христианских

побуждений неоднократно старалась допытаться, чем же я болен, обещая найти средство от моего недуга. «Ах! – говорил я себе, когда Нисида обращалась ко мне с подобными предложениями. – Как легко было бы тебе, прелестная Нисида, облегчить муки, которые мне приходится терпеть из-за твоей красоты!» Однако, хотя это невозможное средство представлялось мне наиболее верным, я, помня о Тимбрио, не почитал для себя возможным его добиваться. И оттого, раздираемый столь противоречивыми чувствами, я не находил слов для ответа, что и Нисиду и ее сестру Бланку, которая, будучи моложе годами, отличалась не меньшею рассудительностью и красотой, в немалое изумление приводило; смущение мое еще сильнее возбуждало их любопытство, и они с превеликою настойчивостью просили меня рассказать им все без утайки. И вот, видя, что сама судьба благоприятствует хитроумному моему замыслу, я как-то раз, когда Нисида и ее сестра по счастливой случайности были одни и когда они снова обратились ко мне все с тою же неизменною просьбой, сказал им:

«Не думайте, сеньоры, что, скрывая до сих пор от вас причину моей скорби, я тем самым выражал нежелание вам повиноваться, – напротив, вам хорошо известно, что если в моем угнетенном состоянии духа я и способен чему-нибудь радоваться, так это возможности бывать у вас и служить вам как простой слуга, – меня удерживала лишь мысль, что откровенность моя доставит вам еще большее огорчение, ибо вы убедитесь, как трудно рассеять мою печаль. Но коль скоро мне теперь ничего иного не остается, как исполнить ваше желание, то знайте, сеньоры, что в этом городе находится некий кавальеро, мой соотечественник и в то же время наставник мой, друг и покровитель, благороднейший, умнейший и добрейший человек, какого мне когда-либо приходилось встречать, и вот этот-то кавальеро по некоторым обстоятельствам принужден был покинуть возлюбленную свою отчизну и приехать сюда в надежде, что если там, в родном городе, он нажил себе недругов, то здесь, в чужом, у него не будет недостатка в друзьях. Мечты, однако ж, обманули его, и один-единственный недруг, которого он, сам того не желая, здесь себе нажил, довел его до такого состояния, что если небо не придет ему на помощь, то он скоро умрет, и тогда уже у него не будет ни друзей, ни врагов. Между тем мне ведомы достоинства Тимбрио, – так зовут того кавальеро, о злосчастии коего я веду свой рассказ, – мне ведомо, что в нем потеряет мир и что потеряю в нем я, оттого-то я, как вы заметили, и хожу такой угрюмый, и это еще слабое проявление моего горя, сравнительно с опасностью, грозящей Тимбрио. Я уверен, сеньоры, что вам не терпится знать, кто сей недруг, приведший на край гибели доблестного кавальеро, о достоинствах коего вы можете судить по моему описанию, однако я уверен также и в том, что когда вы узнаете, кто он, вас удивит одно: как это Тимбрио до сих пор не зачах и не умер. Недруг его – Амур, вечный нарушитель нашего покоя и благополучия. Этот-то коварный враг и овладел всем его существом. Приехав сюда, Тимбрио встретил однажды некую прекрасную даму редких душевных свойств и красоты и при этом столь знатного рода и столь скромного нрава, что несчастный так до сих пор и не

осмелился с ней объяснить».

Тут меня прервала Нисида:

«Не знаю, Астор, – под этим именем знали меня тогда в Неаполе, – точно ли сей кавальеро так доблестен и благоразумен, как ты его описываешь, коль скоро он так легко подчинился внезапно вспыхнувшей в нем пагубной страсти и без всякой причины впал в отчаяние. И хотя я в сердечных делах разбираюсь плохо, все же кажется мне, что со стороны того, кто обременен этими делами, было бы непростительным малодушием и недомыслием не объяснить с виновницей своих страданий, как бы добродетельна она ни была. Что же тут для нее обидного – знать, что она любима, и что горше смерти может принести ему суровый и безжалостный ее ответ? Ведь он все равно погибнет, если будет упорно хранить молчание. Не лучше ли, дабы сохранить за собой заслуженную славу стойкого человека, воспользоваться своим правом? Представим себе, что такой робкий и молчаливый влюбленный, каков на самом деле твой друг, умирает, – скажи, назовешь ли ты жестокой ту даму, в которую он был влюблен? Конечно, нет. Никто из смертных не способен помочь горю, о котором ему ничего неизвестно и о котором он и не обязан знать. Итак, прости, Астор, но поступки твоего друга показывают, что он не вполне достоин расточаемых ему тобою похвал».

Выслушав Нисиду, я чуть было не признался ей во всем, однако ж, оценив всю ее доброту и бесхитростность, вовремя удержался и, решившись подождать более удобной минуты, когда мы останемся с нею вдвоем, ответил ей так:

«Прелестная Нисида! Кто смотрит на поведение влюбленного со стороны, тот замечает в нем столько разных сумасбродств, что оно невольно вызывает у него вместе с сочувствием смех. Но у кого душа опутана хитросплетенной любовною сетью, тот пребывает в сильнейшем расстройстве чувств, тот уже не помнит себя, так что память служит ему лишь стражем и хранителем образа той, на кого устремлен его взгляд, разум – только для того, чтобы познавать и оценивать достоинства его возлюбленной, воля же следит лишь за тем, чтобы память и разум не занялись чем-нибудь другим. И вот, точно в кривом зеркале, все предметы для него увеличиваются: когда его дарят благосклонностью – растет надежда, когда же его отвергают – растет боязнь. И что случилось с Тимбрио, то случается со многими: ведь если вначале предмет, на который они взирают, покажется им слишком высоким, они тотчас теряют надежду когда-либо к нему приблизиться, а все же где-то в глубине души Амур нашептывает им: „Кто знает! Может случиться...“, и оттого упование движется у них, если можно так выразиться, между двух встречных потоков, но совсем не исчезает, ибо исчезни упование – исчезла бы и любовь. Так, между робостью и отвагой, движется сердце влюбленного, и столь глубокое охватывает его в ту пору уныние, что он, вместо того чтобы излить свою скорбь другому, весь в нее погружается, замыкается в ней и ждет спасения неизвестно откуда, хотя оно от него далеко. В таком-то мрачном расположении духа нашел я Тимбрио, однако, по моему настоянию, он все же написал письмо своей возлюбленной и дал мне

его почитать и проверить, нет ли там какой неучтивости, дабы он после исправил ее. Попросил он меня также изыскать способ вручения этого письма владычице его души, но это показалось мне неосуществимым, и не потому, что тут есть для меня некоторый риск, ибо ради Тимбрио я бы и жизнь свою, не задумываясь, поставил на карту, а потому, что вряд ли я сумею передать письмо».

«Прочти мне его, – сказала Нисида, – послушаем, что пишут рассудительные влюбленные».

Тут я вынул письмо Тимбрио, написанное назад тому несколько дней и дожидавшееся случая, когда его можно будет показать Нисиде, и, воспользовавшись ее предложением, прочитал его вслух; читать же мне его приходилось не раз, и потому оно запечатлелось в моей памяти, так что теперь я могу вам его привести слово в слово:

«Положил было я, прелестная сеньора, сделать так, чтобы печальный конец мой открыл Вам мое имя, ибо, – говорил я себе, – лучше утешать себя тем, что Вы воздадите хвалу молчанию моему после моей смерти, нежели выслушивать от Вас порицание моей дерзости при жизни; полагая, однако ж, что душе моей, осененной Вашею благодатью, надлежит покинуть сей мир, оттого что в мире ином Амур не откажет в воздаянии страдальцу, рассудил я за благо уведомить Вас о том состоянии, в какое меня привела Ваша божественная красота; состояние же мое таково, что если б даже нашлись у меня слова для его изображения, оно не стало бы лучше, ибо из-за такой малости никто не дерзнул бы тревожить несравненное Ваше благородство, от какового, а равно и от безгреховного Вашего великодушия, я ожидаю, что оно вернет мне жизнь, дабы я мог служить Вам, или же принесет мне смерть, дабы я Вам никогда больше не докучал».

Когда я кончил читать, Нисида, все время с великим вниманием слушавшая, сказала:

«Даме, которой оно предназначено, не на что тут обижаться, разве только ей во что бы то ни стало захочется покапризничать, – как известно, этим пороком страдают почти все дамы в нашем городе. Со всем тем, Астор, ты непременно вручи ей письмо: ведь, как я уже сказала, горших бедствий, нежели то, которое, по твоим словам, терпит ныне твой друг, ожидать от ее ответа не должно. А дабы придать тебе бодрости, я хочу еще прибавить, что самая целомудренная женщина, вечно стоящая на страже своей чести, жаждет видеть и знать, что она любима, ибо это укрепит ее в том мнении, какое она составила о себе; если же она удостоверится, что никто по ней не вздыхает, – значит, мнение ее было ложно».

«Я отлично сознаю, сеньора, что вы правы, – отвечал я, – однако ж меня повергает в ужас мысль о том, что, осмелившись передать письмо, я, во всяком случае, не смогу уже больше бывать у вас в доме, а это послужит во вред как мне, так и Тимбрио».



«Не спеши, Астор, подписываться под приговором, раз что его еще не вынес судья, – возразила Нисида. – Покажи свою храбрость: ведь ты не на лютую битву идешь».

«О, когда бы, прелестная Нисида, мне предстояло идти на битву! – воскликнул я, – Легче мне подставить грудь тысячам смертоносных орудий, нежели протянуть руку, дабы вручить любовное послание той, которая, почтя себя оскорбленной им, пожалуй, обрушит на мои плечи кару за чужой грех. Как бы то ни было, я все же намерен, сеньора, последовать вашему совету: мне надобно лишь превозмочь страх, овладевший всем моим существом, а до тех пор – умоляю вас, сеньора: вообразите, что письмо послано вам, и дайте мне какой-нибудь ответ с тем, чтобы я сообщил его Тимбрио; этот обман поможет ему немного рассеяться, мне же время и обстоятельства покажут, что я должен делать».

«Плохое ты средство придумал, – сказала Нисида. – Положим даже, я от чужого имени дам тебе благоприятный или уклончивый ответ, – неужели ты не понимаешь, что время, разгласитель наших тайн, обнаружит пред всеми обман и Тимбрио не только не будет доволен, но, скорее всего, рассердится на тебя? И раз что до сего времени ты не передавал ему ответа на его послание, то и не следует начинать с ответов вымышленных и ложных. Впрочем, мне свойственно действовать наперекор своему рассудку: если ты скажешь, кто эта дама, то я научу тебя, что сказать твоему другу, дабы он временно успокоился. И пусть впоследствии дело обернется не так, как он предполагал, – от этого ложь не станет явной».

«О Нисида! Не требуйте от меня невозможного! – воскликнул я. – Одна мысль о том, что я должен открыть вам ее имя, повергает меня в такое же точное смятение, как и мысль о том, что я должен передать ей письмо. Удовольствуйтесь тем, что она из весьма родовитой семьи, красота же ее, не в обиду вам будь сказано, ни в чем не уступит вашей, а в моих устах это высшая похвала».

«То, что ты говоришь обо мне, меня не удивляет, – заметила Нисида, – лесть – это главное занятие людей твоего положения и образа жизни. Но не об том сейчас речь; мне важно, чтобы ты соблюдал интересы доброго своего друга, а потому вот что я тебе советую: скажи Тимбрио, будто ты отправился с письмом к его даме и имел с ней беседу, – при этом ты, не пропустив ни единого слова, передашь ему содержание нашего с тобой разговора, – а затем прочел ей письмо, и она, воображая, что все это относится не к ней, благословила тебя доставить письмо по назначению; и еще постарайся внушить ему, что хотя ты и не осмелился говорить с ней без околичностей, однако же когда она поймет, что письмо написано ей и что она была введена в заблуждение, то большего неудовольствия это у нее не вызовет. Так ты несколько облегчишь его сердечные муки; со временем же, когда той даме станут известны намерения Тимбрио, ты сможешь передать ему ее ответ, но до тех пор ложь пусть остается в силе, истина же должна быть от него тщательно скрыта, дабы он ни на мгновение не заподозрил обмана».

Подивился я разумному наставлению Нисиды; к тому же показалось мне, что хитрость моя ею разгадана. Облобызав ей руки за добрый совет и обещав уведомлять ее обо всем, что бы впредь ни случилось, я отправился к Тимбрио и сообщил ему о своем разговоре с Нисидой, отчего в его душе вновь вспыхнула надежда и принялась изгонять из нее сгустившиеся тучи леденящего страха. И радость его все возрастала по мере того, как я повторял, что для меня нет большей радости, как стараться и в дальнейшем оказывать ему подобные дружеские услуги, и что в следующую мою встречу с Нисидой ловко задуманное предприятие мое несомненно, увенчается успехом, коего чаяния Тимбрио заслуживают. Но я забыл вам сказать одну вещь: во все то время, пока я беседовал с Нисидой, ее сестра Бланка не вымолвила ни слова; до странности молчаливая, она жадно внимала моим словам. И смею вас уверить, сеньоры, что хранила она молчание не потому, чтобы не умела здраво рассуждать или не обладала даром красноречия, ибо этих двух сестер природа осыпала всеми своими дарами и щедротами. Не знаю также, сознаться ли мне вам, что я был бы рад, если б небо воспрепятствовало моему знакомству с обеими сестрами, особливо с Нисидой, с этим главным источником всех моих бедствий. Однако ж смертный не властен изменить предначертание судеб, а потому – рассудите сами – что же мне оставалось делать? Я горячо полюбил, люблю и буду любить Нисиду, но, как это явствует из пространныго моего повествования, любовь моя ничем не повредила Тимбрио, ибо я говорил о своем друге только хорошее, ценою нечеловеческих усилий подавляя собственные свои страдания, дабы облегчить чужие. Однако ж дивный образ Нисиды столь ярко запечатлелся в моей душе с той самой минуты, как я увидел ее впервые, что, не в силах будучи таить в глубине души бесценное сие сокровище, я, когда мне случалось быть одному, или же нарочно от всех уединиться, слагал в его честь жалостные любовные песни, набросив на него покров вымышленного имени. И вот как-то ночью, в дальних покоях, где, по моим соображениям, ни Тимбрио, ни кто-либо другой не мог меня услышать, я, дабы оживить усталый мой дух, под звуки лютни спел одну песню, коей суждено было повергнуть меня в столь ужасное смятение, что я долгом своим почитаю сейчас ее вам исполнить:

Моя мечта безумная! В какой  
Тупик заведена ты тайной силой?  
Кто в прах развеял мирный мой покой  
И заменил его войной постылой?  
Зачем на землю брошен я судьбой.  
Где ждет меня отверстая могила?  
Ах, кто спасет меня от тяжких мук?  
Кто исцелит душевный мой недуг?

Когда б я знал, что верностью своею  
И преданностью другу моему  
Доставлю радость небу и земле я, –

Чтоб только верность сохранить ему,  
Я, этой сладкой жизни не желая,  
Охотно в вечную ушел бы тьму,  
Сам, не страшась, покончил бы с собою,  
Хоть жжет меня огонь любви, не скрою.

Пусть падают, как смертоносный град,  
Слепому бога золотые стрелы<sup>14</sup>  
И сердце бедное мое язвят,  
Змеями злыми мне впиваясь в тело, —  
Роптать не буду я на этот ад,  
Хотя б и стал золою омертвелой:  
Свои мучения в душе тая,  
Себя за них вознаграждаю я.

Хранить о муках вечное молчанье  
Велит мне дружба, — чту ее завет:  
Лишь ей по силам облегчить страданье,  
Которому конца как будто нет.  
Честь умалю свою, отдам дыханье,  
Но дружбе изменить? Нет, трижды нет!  
Скала средь волн, взметенных бурей дикой, —  
Вот образ верности моей великой.

Пусть влага горькая моих очей,  
Все затаенные мои мученья,  
Мое от сладостной мечты моей  
Тяжелое безмерно отречение  
Пойдут лишь впрок тому, кто всех милей  
И ближе мне. Соделай, провиденье,  
Чтоб счастлив был возлюбленный мой друг  
Ценой моих невыносимых мук!

Мне помоги, любовь! Мой дух ничтожный  
Взнеси, чтоб мог он в долгожданный миг  
Исполниться отвагой непреложной,  
И укрепи мой трепетный язык;  
Захочешь ты — и все ему возможно:  
В какой бы ни был загнан я тупик,  
Меня оттуда он, с твоей подмогой,  
На столбовую выведет дорогу.

Полет моего воображения так меня всегда увлекал, что я и тут не

<sup>14</sup> Слепому бога золотые стрелы... — то есть стрелы бога Амура, которого изображали с повязкой на глазах.

соразмерил силы своего голоса, место же это было не настолько укромное, чтобы Тимбрио не мог оказаться поблизости, и как скоро услышал он мое пение, то пришла ему в голову мысль, что всеми моими помыслами владеет любовь и – о чем он заключил из слов песни – не к кому иному, как к Нисиде. Постигнув истинные мои чувства, он не постиг, однако ж, истинных моих стремлений и, превратно истолковав их, положил в ту же ночь удалиться и отправиться туда, где бы его невозможно было найти, – только для того, чтобы я безраздельно отдался вспыхнувшей во мне страсти. Все это я узнал от его слуги, верного хранителя его тайн, – тот явился ко мне весьма опечаленный и сказал:

«Скорей, сеньор Силерьо! Мой господин, а ваш приятель Тимбрио хочет покинуть нас и сею же ночью уехать, куда – этого он мне не сказал, а велел выдать ему на дорогу денег и никому не говорить, что он уезжает; при этом он строго-настрого наказывал, чтобы я ничего не говорил вам, а задумал он уехать после того, как услышал песню, которую вы только что пели; судя же по отчаянному его виду, я полагаю, что он и руки на себя наложить способен. Оттого-то, решив, что благоразумнее будет оказать ему помощь, нежели исполнять его приказание, я и обратился к вам, – только вы и можете удержать его от безрассудного шага».

С необычайным волнением выслушал я то, что сообщил мне слуга, и опрометью бросился к Тимбрио, однако ж прежде, чем войти к нему в комнату, остановился посмотреть, что он делает, – а он лежал ничком на своей постели, проливая потоки слез и испуская глубокие вздохи, и в его чуть слышном и бессвязном шепоте я различил такие слова:

«Постарайся, истинный друг мой Силерьо, сорвать плод, который ты вполне заслужил своими хлопотами и трудами, и не замедли – что бы ни повелевал тебе долг дружбы – дать волю своей страсти, я же намерен укротить свою хотя бы с помощью крайнего средства – с помощью смерти, от которой ты было избавил меня, когда столь самоотверженно и бесстрашно вышел один против множества злобных мечей, но которой ныне я сам обрекаю себя, дабы хоть чем-нибудь отплатить тебе за твое благодеяние и, устранившись с твоего пути, предоставить тебе наслаждаться тою, что олицетворяет собой небесную красоту, тою, что была словно создана Амуром для вящего моего блаженства. Об одном грущу я, милый мой друг: ведь я даже не могу проститься с тобой перед своим печальным уходом, но причиной его являешься ты, и это да послужит мне оправданием. О Нисида, Нисида! Красота твоя навек пленила того, кому смертью своей надлежит искупить вину другого, дерзнувшего созерцать ее. Силерьо ее узрел, и, не оцени он ее по достоинству, я перестал бы уважать его вкус. И коли уж так судил мне рок, то да будет ведомо небесам, что я все такой же друг Силерьо, как и он мне, и, дабы доказать это, пожертвуй, Тимбрио, своим счастьем, беги от своего блаженства, разлучись с Силерьо и Нисидой, двумя самыми дорогими и близкими тебе существами, скитайся бесприютным странником по свету!»

Вдруг, заслышав шорох, в порыве ярости поднялся он со своего ложа,

распахнул дверь и, увидев меня, воскликнул:

«Это ты, друг мой? В столь поздний час? Верно, что-нибудь случилось?»

«Случилось то, от чего я до сих пор не могу опомниться», – отвечал я.

Не желая задерживать ваше внимание, скажу одно: в конце концов мне удалось внушить ему и доказать, что он ошибся – что я, точно, влюблен, но не в Нисиду, а в ее сестру Бланку. И до того правдоподобно сумел я все это изобразить, что он мне поверил, а дабы у него не оставалось и тени сомнения, память подсказала мне строфы, которые я когда-то давно сочинил в честь одной дамы, носившей такое же имя; ему я сказал, что они посвящены сестре Нисиды, и так они кстати тогда прились, что хотя, быть может, вы и найдете это лишним, я все же не могу вам их не прочесть:

О Бланка, холодом и белизною  
Подобная снегам<sup>15</sup> высоких гор!  
Мне может сердце излечить больное  
Один лишь врач – ваш благосклонный взор.  
Скажите только, что его не стою, –  
И вынесен мне будет приговор:  
В столь черном горе кончить век мятежный.  
Сколь вы и ваше имя белоснежны.

Вас, Бланка, в чьей груди слепой божок  
Нашел себе желанное гнездовье, –  
Пока мою не растопил поток  
Слез горестных, впоенных жаркой кровью, –  
Молю: подайте мне хотя б намек,  
Что вы моею тронуты любовью,  
И буду я вознагражден вполне  
За все страданья, выпавшие мне.

В моих глазах, о Бланка, вы – «белянка»,  
Которая дороже, чем дукат.<sup>16</sup>  
Когда бы я владел такой приманкой,  
Меня б не соблазнил ценнейший клад.  
Вам это хорошо известно, Бланка;  
Так бросьте же поласковее взгляд  
На человека, жаждущего доли –  
Не скромной ли? «Белянки» лишь, не боле.

Хоть, верно, я прослыл бы бедняком,  
Единственной «белянкою» владея,

---

15 О Бланка, холодам и белизною подобная снегам... – Blanca по-испански значит «белая».

16 ...Бланка, вы – «белянка», которая дороже, чем Дукат. – «Белянка» – blanca – старинная монета.

Мне все богатства были б нипочем,  
Когда бы вы, о Бланка, были ею.  
Кому Хуан-башмачник<sup>17</sup> не знаком?  
Им быть хотел бы я душою всею,  
Когда б средь трех «белянок» всякий раз  
Мог находить, белянка-Бланка, вас.

Эти строфы, якобы сочиненные мною в честь Бланки, убедили Тимбрио, что страдаю я не от любви к Нисиде, а от любви к ее сестре. Уверившись в том окончательно и извинившись за напраслину, которую он на меня возвел, Тимбрио снова обратился ко мне с просьбой помочь его горю. И могу сказать, что, позабыв о своем, я сделал все, дабы эту просьбу исполнить. В течение нескольких дней судьба не предоставляла мне такого благоприятного случая, чтобы я рискнул поведать Нисиде всю правду, хотя она постоянно спрашивала, как идут сердечные дела моего друга и знает ли что-нибудь его дама. Я же отвечал, что из боязни оскорбить ее не дерзаю начать с ней разговор. Нисиду это каждый раз выводило из себя, и, обозвав меня глупцом и трусом, она прибавляла, что трусость моя, видимо, объясняется тем, что Тимбрио вовсе не так страдает, как я это расписываю, или же тем, что я не такой ему верный друг, каким прикидываюсь. Все это побуждало меня принять твердое решение и при первом удобном случае ей открыться, что я однажды и сделал, когда мы остались с нею вдвоем, и она необычайно внимательно меня выслушала, я же превознес до небес душевные качества Тимбрио, искренность и силу его чувства к ней, каковое, – прибавил я, – принудило меня заняться презренным ремеслом шута только для того, чтобы иметь возможность все это высказать ей, а затем привел еще и другие доказательства, которые, на мой взгляд, должны были убедить Нисиду. Однако же она тогда не захотела выразить словами то, что впоследствии раскрыли ее дела; напротив, с величественным и строгим видом она пожурила меня за излишнюю смелость, осудила мою дерзость, выбрала меня за то, что я отважился с подобными речами к ней обратиться, и заставила меня пожалеть о том, что я выказал слишком большую доверчивость, и все же я не почувствовал необходимости избавить ее от своего присутствия, а этого я особенно боялся; она лишь сказала мне в заключение, что впредь мне следует щадить ее скромность и вести себя так, чтобы тайна моего маскарада никем не была разгадана. И этим своим заключением Нисида довела до конца и завершила трагедию моей жизни, ибо тут я уразумел, что она вняла жалобам Тимбрио.

Чья душа при этом не наполнилась бы до краев лютою скорбью, какая в сей миг пронзила мою, ибо преграда, которую встретила на своем пути самая сильная ее страсть, означала в то же время крушение и гибель ее мечты о счастье? Я не мог не радоваться, что с моею помощью дело Тимбрио пошло на

---

<sup>17</sup> Хуан-башмачник – один из вариантов легенды об Агасфере. Милость, которая была оказана Хуану-башмачнику, заключалась будто бы в том, что когда он засовывал руку в карман, то каждый раз находил там пять мелких монет («белянок»).

лад, однако радость эта лишь усиливала мою печаль, ибо я имел все основания полагать, что Нисида будет принадлежать ему и что мне не суждено обладать ею. О всемогущая сила истинной дружбы! Как далеко простираешь ты свою власть и на что ты меня вынуждаешь! Ведь я сам, повинувшись тебе, отточил на оселке своей хитрости нож, обезглавивший мои надежды, и те, погребенные в тайниках моей души, воскресли и ожили в душе Тимбрио, едва он узнал, как отнеслась к моим словам Нисида. Впрочем, она все еще проявляла сугубую сдержанность и не подавала виду, что мои старания и любовь Тимбрио ей приятны, но, вместе с тем, не выказывая ни малейшей досады или неудовольствия, отнюдь не побуждала нас бросить эту затею. И так продолжалось до тех пор, пока известный уже вам хересский кавальеро Прансилес, найдя, наконец, удобное и надежное место для поединка в государстве герцога Гравинского, не потребовал от Тимбрио удовлетворения и не предложил ему прибыть туда спустя полгода со дня получения настоящего вызова, каковой, причинив моему другу новое беспокойство, не явился, однако ж, достаточной причиной для того, чтобы он перестал беспокоиться о сердечных своих делах, напротив – благодаря моим удвоенным стараниям и его домогательствам Нисида уже готова была принять его у себя в доме и увидеться с ним, при условии, если он обещает соблюдать приличия, коих-де требует ее скромность. Между тем срок, назначенный Прансилесом, истекал, и Тимбрио, сознавая всю неизбежность этого испытания, стал собираться в дорогу, но перед отъездом он написал Нисиде и этим своим письмом сразу добился того, на что я бесполезно потратил так много времени и так много слов. Послание Тимбрио, которое я знаю на память, имеет прямое отношение к моему рассказу, а потому я позволю себе его прочитать:

Тебе здоровой быть желает тот,  
О Нисида, кто, сам лишен здоровья,  
Его из рук твоих смиренно ждет.

Боюсь я докучать своей любовью,  
Но верь, что каждая из этих строк  
Написана моей горячей кровью.

Так необуздан, яростен, жесток  
Напор моих страстей, что я от бреда  
Любовного себя не уберег.

То празднует в душе моей победу  
Пыл дерзновенья, то холодный страх.  
Я опасаюсь, что посланье это

Меня погубит, что в моих строках  
Найдешь ты только повод для презренья

Иль их прочтешь с улыбкой на устах.

Свидетель бог, что я с того мгновенья  
Тебя боготворю, когда твой лик  
Мне стал ключом отрады и мученья.

Узрел и вспылал я в тот же миг  
Кому бы перед ангельской красою  
Священный пламень в сердце не проник?

В твоих чертах душа моя такое  
Нашла очарованье, что тотчас  
К твоей душе, лишенная покоя,

С неудержимой силой повлеклась  
И в ней нездешний рай красот открыла,  
Которым нет названия у нас.

На дивных крыльях ввысь ты воспарила,  
С восторгом – мудрый, с ужасом – простак  
На твой полет взирает быстrokрылый.

Удел души, столь драгоценной, – благ;  
Блажен и тот, кто, за нее воюя,  
Святой любви не покидает стяг.

Свою звезду за то благодарю я,  
Что госпожой моею стала та,  
Чья плоть одела душу неземную.

Твоей души и плоти красота  
Мой ум изобличает в заблужденье,  
И мне ясна надежд моих тщета.

Но так безгрешны все мои стремленья,  
Что, безнадежности наперекор,  
Я подавляю мрачные сомненья.

Любовь живет надеждой, – с давних пор  
Об этом слышу я, однако знаю:  
Любой судьбе любовь дает отпор.

Мне дорога душа твоя святая,  
Хоть любя также красота твоя –



Сеть, что любовь, меня поймать желая,

Расставила, куда низвергся я  
И где меня безжалостно сдавила  
Затянутая накрепко петля.

Любовных чар неодолима сила:  
В руках любви какая красота  
Приманкой и соблазном не служила?

Одна душа навеки в плен взята  
Силками молотых волос, другою  
Владеет грудь, чья скрыта пустота

За алебастровую белизною:  
Огонь жестокий третью душу жжет:  
Ей мрамор шеи не дает покоя.

Однако подлинно влюблен лишь тот,  
Кто взор вперил в душевные глубины  
И созерцает бездну их красот.

То, что на смерть обречено судьбиной,  
Душе бессмертной быть не может впрок, —  
Через недра тьмы ей к свету путь единый.

Твой дух так благороден и высок,  
Что все мои постыдные влеченья  
Он усмирил, их силу превозмог.

Им только в радость это поражение:  
Ведь кто же? Ты повергнула их в прах, —  
Как мук своих им не предать забвенью?

Взрезал бы волны я, тонул в песках,  
Когда б не только жаждал созерцанья,  
Но и от страсти беспокойной чах.

Я знаю, сколь мы разные созданья,  
Как я ничтожен и бесценна ты;  
С тобой разделены мы вечной гранью.

Преграды на пути моей мечты  
Бесчисленны, как в небесах светила,

Как племена подлунной широты.

Я знаю, что судьба мне присудила,  
И все же к безнадежному меня  
Влечет любовь с необоримой силой.

Но в путь, о Нисида, собрался я,  
В желанный путь – туда, где от страданий  
Навек избавится душа моя.

Там враг – со шпагою в поднятой длани,  
С твоим заклатьем в сговоре – удар  
Мне нанести готовится заране.

Там будешь ты отомщена за жар  
Сердечный мой, развеянный в пустыне,  
За этот щедрый, но ненужный дар.

Не только смерть я счел бы благостыней,  
Но тысячу смертей, когда бы мог,  
Придя к своей безвременной кончине,

Сказать, что милостив ко мне был рок,  
Мне подарив сочувствие любимой;  
Но, ах, напротив – был он так жесток!

Тропа моих удач узка, чуть зрима,  
Тропа же тяжких бедствий широка.  
Проторена судьбой невыносимой.

По ней бежит, грозясь издалека,  
Мощь черпая в твоём ко мне презренье,  
Лихая смерть, – она уже близка.

Что ж, пусть возьмет меня! Сопротивленья  
Не окажу: суровостью твоей  
Я приведен на грань изнеможенья.

Я так измучен, что в душе моей  
Страх пред врагом озлобленным гнездится,  
И этот страх позорный тем сильней,

Что обессиленным иду я биться,  
Но я горю, в твоём же сердце лед, –

Так как же мне на крайность не решиться?

Кровавой встречи предрешен исход.  
Пред кем рука б моя не задрожала,  
Коль от тебя ей помощь не придет?

А если б ты помочь мне пожелала,  
С любым из римских полководцев бой  
Я принял бы, не устрашась нимало.

Я вызов смерти бросил бы самой  
И вырвал бы из лап ее добычу  
Отважной и уверенной рукой.

Судьбе моей придать печать величья  
Или позора можешь только ты,  
Лишь ты властна творить ее обличье.

Любовью беспримерной чистоты  
Я был взнесен, и если б ты хотела,  
Я не упал бы с горней высоты,

Благого не лишился бы удела,  
Теперь же упованиям моим  
Лежать в пыли, свой взлет забывши смелый.

Так страшен рок мой, так невыносим,  
Что я готов благословить страданья,  
Рожденные презрением твоим.

Лелею я теперь одно мечтанье:  
Мне б только знать, что я в душе твоей  
Бужу хоть бледное воспоминанье.

Я подсчитал бы, думаю, быстрее  
Светила на просторах небосклона,  
Песчинки на краю морских зыбей,

Чем горькие все жалобы и стоны,  
Которые твой равнодушный взор  
Исторгнул из груди моей стесненной.

Молю: ничтожество мое в укор  
Ты мне не ставь, – сравнение с тобою

Наиславнейшему несет позор.

Тебя люблю, хоть малого я стою,  
И ты мне так безмерно дорога,  
Что задаю себе вопрос, не скрою:

Как можешь видеть ты во мне врага?  
Наоборот, мне кажется, награду  
Я б заслужил, не будь ты так строга.

Быть не должно согласия и лада  
С жестокосердием у красоты,  
И добродетели быть доброй надо.

Ах, Нисида! Куда девала ты  
Несчастный дар мой – душу не обманной,  
Ничем не замутненной чистоты?

Души моей ты госпожой избранной  
Не хочешь быть. Какой же дар другой  
Признала б ты за более желанный?

В тот день, когда я встретился с тобой,  
Навек утратил я – себе на горе,  
Но и на радость – душу и покой.

Свою судьбу в твоём ищу я взоре,  
Тобой дышу, в твоих желаньях мне  
Звучит веленье, словно в приговоре.

Живу в непотухающем огне,  
То пеплом делаясь, то воскресая,  
Подобен птице Фениксу<sup>18</sup> вполне.

Тебя, о Нисида, я заклинаю:  
Верь, этот чудодейственный костер –  
Непобедимая любовь святая.

Умри я нынче – твой любимый взор  
Мне жизнь вернет; он челн мой из пучины  
Вверх вынесет, смиривши волн раздор.

---

<sup>18</sup> *Феникс* – мифическая птица, которая, по преданию, через каждые пятьсот лет сжигала себя и вновь возникала из пепла.

Против любви бессильна и судьбина,  
Сливает справедливо мысль моя  
Любовь с верховной мощью воедино.

Тут, чтоб не докучать, кончаю я.

Не могу вам сказать, что именно убедило Нисиду: доказательства, приведенные в этом послании, бесчисленные ли доказательства, которые еще раньше приводил я в подтверждение искренности чувств моего друга Тимбрио, необыкновенная ли его настойчивость, а быть может, так было угодно небу, – только по прочтении письма Нисиды обратилась ко мне и со слезами на глазах молвила:

«Ах, Силерьо, Силерьо! Боюсь, что заботы о здоровье друга твоего будут стоять мне собственного моего здоровья! Молю судьбу, пославшую мне это испытание, чтобы речи твои и дела Тимбрио оказались не лживыми; если ж и те и другие меня обманули, то да отомстит за меня небо, ибо оно видит, что я уже не могу более таить свое чувство – так сильна его власть надо мной. Но какое же это слабое оправдание для столь тяжелой вины! Ведь я должна была бы молча умереть, дабы честь моя осталась жива, тогда как после этого разговора мне придется похоронить ее, а затем и самой покончить все счета с жизнью».

Слова Нисиды и в особенности то волнение, с каким она их произносила, смутили меня, и я начал было уговаривать ее объясниться начистоту, но она не заставила себя долго упрашивать и тут же призналась, что она не просто любит, что она обожает Тимбрио, но что она утаила бы от всех эту страсть, когда бы вынужденный отъезд Тимбрио не вынудил ее открыть тайну своей души.

Что испытывал я, слушая речи Нисиды и наблюдая за всеми проявлениями ее страсти к Тимбрио, – это не поддается никакому описанию, да я и рад, что такая чудовищная пытка неопишуема, – рад не потому, чтобы мне тяжело было счастливого Тимбрио себе представить, а потому, что мне тяжело было видеть самого себя отчаявшимся когда-либо вкусить блаженство, ибо я тогда уже ясно видел, что не могу жить без Нисиды и что, уступая ее другому, я тем самым, как я вам уже говорил, навсегда отказываюсь от всех земных радостей и утех; единственно, что мне удалось насильно вырвать у судьбы, – это счастье друга моего Тимбрио, вот почему я не умер в тот миг. Более того, я, сколько мог спокойно, выслушал признание Нисиды и обрисовал ей, как сумел, душевную прямоу Тимбрио; она же ответила, что доказывать ей это теперь уже незачем, ибо у нее нет никаких оснований мне не верить, но что она просит меня об одном: нельзя ли, если только это возможно, уговорить Тимбрио под благовидным предлогом уклониться от поединка, но тут я возразил ей, что это значило бы себя обесчестить, с чем она согласилась и, сняв с себя некие драгоценные реликвии, вручила их мне для передачи Тимбрио. Тогда же мы условились, как нам действовать дальше: дело состояло в том, что ее родители, желавшие посмотреть на битву Тимбрио с Прансилесом, собирались взять с собой обеих дочерей, но как присутствовать при этой жестокой схватке было

свыше ее сил, то положила она – притворившись в дороге больною, пребывать безотлучно в загородной вилле, в которой предполагали остановиться ее родители и которая находилась в полумиле от места дуэли, и там дожидаться решения своей участи, всецело зависевшего от участи Тимбрио. А дабы сократить минуты мучительного неведения, дала она мне белый платок и велела привязать его к рукаву в случае, если Тимбрио выйдет победителем, если же он будет побежден, то не подавать никакого знака, – и так мне еще издали предстояло возвестить ей начало ее блаженства или же конец ее дней. Обещав исполнить все, что она мне приказала, я взял реликвии и платок и с весьма горьким чувством, но и с чувством самого полного удовлетворения, какое мне когда-либо приходилось испытывать, с нею простился: грусть возникала от сознания постигшей меня неудачи, великая же удача, выпавшая на долю Тимбрио, приводила меня в восторг. Явившись к Тимбрио, я рассказал ему о своем свидании с Нисидой, и он был так счастлив, горд и доволен, что даже смертельная опасность, коей он подвергнулся на поединке, представлялась ему уже теперь ничтожной, – он полагал, что смерть бессильна перед тем, кому оказывает покровительство его повелительница. Я не стану приводить те похвалы, которые в благодарность за мое усердие расточал мне тогда Тимбрио, ибо чрезмерность их показывает, что он просто обезумел от радости.

Воодушевленный и окрыленный этою доброю вестью, Тимбрио, выбрав себе в секунданты некоего знатного испанского кавальеро и одного неаполитанца, тронулся в путь. И, к вящей славе этого необычного поединка, вслед за ним устремилось чуть ли не все королевство, в том числе Нисида и Бланка со своими родителями. Желая показать, что не тот или иной род оружия, но его правота дает ему превосходство над врагом, Тимбрио остановил свой выбор на шпаге и кинжале и не взял с собой никаких доспехов. Нисида, вместе со своими родными и многими другими кавальеро покинувшая Неаполь за несколько дней до поединка, приехала первая, и все это время она постоянно напоминала мне о нашем с ней уговоре. Однако ж слабая моя память, вечно доставлявшая мне одни огорчения, и на сей раз осталась верна себе: она ухитрилась так прочно забыть все, о чем мне твердила Нисида, что после этого я должен был или покончить с собой, или уж избрать тот горестный удел, который, как видите, в конце концов и стал моим уделом.

Итак, в день жестокой схватки Нисида, сославшись, как было между нами условлено, на недомогание, осталась в загородной вилле, в полумиле от места дуэли; и, провожая меня, она еще раз мне наказала возвращаться как можно скорей с платком или без платка, каковой знак должен был возвестить ей победу или поражение Тимбрио. Я же, в глубине души подсадовав на нее за то, что она словно не надеется на мою память, снова обещал исполнить ее приказание и на этом простился с нею и с Бланкой, не захотевшей покинуть сестру. Прибыл я на поединок, когда уже время было начинать, и вот, после того как секунданты покончили со всеми приличествующими случаю церемониями и обратились к обоим кавальеро с наставлениями, те заняли свои места и, едва зловеще и хрипло протрубил рожок, выказали такое искусство и

ловкость, что все невольно ими залюбовались. Амур или, вернее сказать, собственный разум Тимбрио давал ему столь мудрые советы, что вскоре он уже, отделавшись несколькими ранениями, поверг к своим ногам израненного и окровавленного противника и предложил, если тот желает сохранить себе жизнь, немедленно сдаться. Однако ж несчастный Прансилес молил умертвить его: спокойней-де и легче было б ему пройти через тысячу смертей, нежели хотя бы единожды сдаться. Со всем тем великодушный Тимбрио не стал убивать своего врага, он даже не требовал, чтобы тот признал себя побежденным, – он хотел одного: пусть Прансилес объявит во всеуслышание, что Тимбрио так же честен, как и он, и тот весьма охотно на это пошел, что, впрочем, не составляло для него никакого труда, ибо он, и не будучи побежденным, отлично мог бы это признать.

Зрители, слышавшие все, о чем Тимбрио говорил со своим недругом, оценили его благородный поступок и воздали ему должную хвалу. Я же, как скоро дождался счастливой развязки, не чуя ног под собой от радости, полетел к Нисиде. Но увы! тогдашняя моя беззаботность взвалила мне на плечи новую заботу. О моя память, о моя память! Для чего покинула ты меня в то время, когда я в тебе особенно нуждался! Видно, так уж судил мне рок, что радости моей и счастью пришел столь скорый и ужасный конец. Я стрелой летел к Нисиде, но без белого платка на рукаве. Между тем Нисида, стоя на высокой галерее и зорко вглядываясь в даль, со все возрастающим нетерпением ждала меня, но платка на мне не было, и, заметив это, она вообразила, что с Тимбрио непоправимая стряслась беда; и так она это живо себе представила и так была этим потрясена, что тут же упала без чувств, и глубокий ее обморок все приняли за смерть.

Когда я вошел, в доме уже суетились встревоженные слуги, а над телом бедной Нисиды предавалась безысходному отчаянию Бланка. Будучи твердо уверен в том, что она умерла, и чувствуя, что схожу с ума от горя, я, из боязни как-нибудь проговориться и выдать свою тайну, поспешил уйти и направился к несчастному Тимбрио уведомить его о новом несчастье. Злая скорбь подточила, однако ж, мои душевные и телесные силы, и оттого шаг мой оказался не столь быстр, как у того, кто нес печальную эту весть родителям Нисиды и кто потом передал им за верное, что во время сердечного припадка их дочь скончалась. Тимбрио, должно быть, об этом услышал, и, должно быть, это подействовало на него так же, как на меня, а может быть, даже еще сильнее; как бы то ни было, когда я, уже в сумерках, достигнул того места, где надеялся встретить его, то один из его секундентов сказал мне, что он с другим секундантом отправился на почтовых в Неаполь и что до того он был удручен, как если б его победили и обесчестили, на поединке. Тогда я, догадавшись, в чем дело, пустился за ним вдогонку и, еще не доезжая до Неаполя, получил точные сведения, что Нисида не умерла, – правда, обморок ее длился целые сутки, но потом она пришла в себя и теперь все только, мол, вздыхает да плачет. Достоверные эти сведения порадовали меня, и я уже с иным чувством прибыл в Неаполь, где рассчитывал встретить моего друга, однако вышло не так:

кавалеро, с которым он сюда приехал, сообщил мне, что в Неаполе Тимбрио молча расстался с ним и ушел неизвестно куда, но что, судя по его печальному и мрачному виду, не иначе как он намерен лишиться себя жизни. Подобная весть могла лишь вновь исторгнуть у меня слезы, однако на этом злоключения мои не кончились: спустя несколько дней приехали в Неаполь родители Нисиды, но без нее и без Бланки, и вскоре уже всему городу стало известно, что ночью, по дороге в Неаполь, сестры бежали и что с тех пор о них ни слуху ни духу. Я был до того этим ошеломлен, что положительно не знал, как мне быть и на что решиться. И еще не прошло у меня это состояние странного оцепенения, как вдруг получаю сведения, правда, не совсем достоверные, о том, что Тимбрио сел в Гаэте на корабль, отходивший в Испанию. Показалось мне это похожим на правду, и я отправился вслед за ним: побывал и в Хересе, и куда-куда я только ни заезжал в чаянии встретить его, но так и не попал на след. В конце концов очутился я в Толедо, где живет вся родня Нисиды, но и тут ничего не удалось мне узнать, кроме того, что родители ее переехали сюда и что судьба их дочерей им по-прежнему неизвестна.

Итак, потеряв из виду Тимбрио, находясь вдали от Нисиды, угнетаемый мыслью, что если даже я их и увижу, то для них это будет удовольствие, а для меня погибель, усталый и разуверившийся в обманчивой прелести мира сего, решил я обратить свои взоры к иной путеводной звезде и посвятить остаток дней моих тому, кто судит страсти и дела человеческие, как они того заслуживают. Вот почему, облекшись в одежду, которую вы на мне сейчас видите, я поселился в пещере, которую вам приходилось видеть не раз, и здесь, в сладостном уединении, смиряю я свои страсти и направляю дела свои к иной, высшей цели, и хотя волна прежних моих дурных наклонностей приходит ко мне издалека, все же не так-то легко остановить ее бег, ибо и память, едва отхлынув, возвращается вновь и вступает со мною в борьбу, в ярких красках изображая минувшее. И вот тогда-то, под звуки арфы, которую избрал я подругой моих одиноких дней, я и пытаюсь облегчить бремя тяжких моих забот и буду пытаться до тех пор, пока обо мне не позаботится небо и не призовет меня в мир иной. Вот, пастухи, история моего злополучия, и если я долго вам ее рассказывал, то единственно потому, что слишком долго преследовала меня судьба.

На этом кончил Силерьо свой рассказ, и сколько ни упрашивали его Тирсис, Дамон, Элисо и Эрастро провести наступивший день с ними, он, расцеловав их всех, удалился.

Подойдя к ручью, пастухи заметили, что сюда же, свернув с дороги, направляются три кавалеро и две прекрасные дамы: их манила к себе уютная и прохладная древесная сень, и они, усталые и измученные, решили укрыться здесь от полдневного зноя. Шли они в сопровождении слуг, так что, судя по всему, то были знатные люди. Пастухи хотели было уступить им этот уголок, но один из кавалеро, по-видимому, самый знатный, поняв, что искать себе другого места заставляет их долг вежливости, сказал им:

— Если вам доставляет удовольствие, любезные пастухи, проводить час



полуденного отдыха в прелестном этом уголке, то этим вы и нам доставите удовольствие, ибо учтивость ваша и манера держаться ничего, кроме удовольствия, не сулят. Места же здесь хватит на всех, а потому вы обидите и меня и наших дам, если не исполните того, о чем я от их и от своего имени вас прошу.

– Исполняя ваше желание, сеньор, мы только исполним собственное свое желание, – отвечал Элисо, – мы именно и желали провести здесь в приятной беседе томительные часы полуденного зноя, но если б даже это было и не так, все равно мы исполнили бы то, о чем вы нас просите.

– Знаки вашего расположения к нам таковы, что я почитаю себя в долгу перед вами, – отвечал кавальеро, – но, дабы я совершенно в чувствах ваших уверился, сделайте мне, пастухи, еще одно одолжение: сядьте возле родника и отведайте, прошу вас, тех лакомств, что наши дамы взяли с собою в дорогу: они вызовут у вас жажду, которую вы потом утолите холодной водою прозрачного сего ручейка.

Пастухи, очарованные любезным его обхождением, согласились. До сих пор дамы скрывали свои лица под искусно сделанными масками, но тут они их сняли, видя, что пастухи остаются, и те замерли от восторга пред той ослепительною красотою, какая открылась в сей миг их глазам. Обе дамы были равно прекрасны, но одна из них, та, что выглядела старше, казалась еще изящнее и обворожительнее. После того как все устроились и разместились, другой кавальеро, не проронивший доселе ни слова, обращаясь к пастухам, молвил:

– Когда я думаю, друзья мои, о том преимуществе, какое имеет скромная жизнь пастуха перед роскошною жизнью иного столичного жителя, мне становится жаль самого себя, а к вам я начинаю испытывать благородную зависть.

– Почему же, друг Даринто? – спросил первый кавальеро.

– А вот почему, сеньор, – отвечал тот. – Сколько усилий тратите и вы, и я, и все, кто ведет подобный образ жизни, на то, чтобы украсить свою особу, понежить свою плоть и умножить свои доходы, а впрок это нам не идет, ибо от не вовремя принимаемой и вредной для желудка пищи, от всех этих дорогих, но невкусных блюд мы так всегда дурнеем, что ни золото, ни парча, ни пурпур ни в малой степени нас не красят, не молодят и не придают нам блеску, тогда как деревенские труженики в сем случае являют собою полную противоположность, что вы можете наблюдать на примере сотрапезников наших, ибо они, вернее всего, довольствовались прежде и довольствуются ныне пищею простою, не похожею на наши затейливые, но непитательные кушанья, а между тем взгляните на их загорелые, пышущие здоровьем лица и сравните с нашими, бледными и испитыми; взгляните, как свободно чувствует себя мощное и гибкое тело пастуха в овчинном тулупе, как хорошо сидит на нем серая шапка, как идут ему длинные шерстяные чулки, – уверяю вас, что своей пастушке он кажется милее, нежели светский щеголь – какой-нибудь даме, живущей в деревенской глуши. А что скажете вы о простоте нравов, какую

славятся пастухи, о свойственном им прямоте, о чистоте их любви? Я же одно могу сказать: все, что мне удалось узнать об их жизни, так меня соблазняет, что я хоть сейчас готов поменяться с ними.

– Позвольте от лица всех пастухов выразить вам свою признательность за ваше лестное о нас мнение, – сказал Элисо. – Должен, однако ж, заметить, что и наша деревенская жизнь полна превратностей и огорчений.

– Не могу с тобой согласиться, друг мой, – возразил Даринто. – Правда, все мы знаем, что земное наше существование – это война, но здесь она меньше чувствуется, нежели в городе, оттого что деревенская жизнь не в такой степени зависит от разных случайностей, волнующих дух и возмущающих покой.

Тут одна из дам, обратись к другой, молвила:

– Сдается мне, сеньора Нисида, что если мы желаем завтра же увидеть наших родителей, то нам пора в путь.

При этих словах Элисо невольно подумал, что перед ним та самая Нисида, о которой столько рассказывал отшельник Силеро; подобная же мысль одновременно мелькнула у Тирсиса, Дамона и Эрастро, и, дабы удостовериться в том, Элисо, обратясь к Даринто, сказал:

– Сеньор Даринто! Имя, которое только что изволила произнести эта дама, знакомо и мне и другим пастухам, но тот, из чьих уст слышали мы его впервые, произносил его с глубоким волнением и со слезами на глазах.

– Верно, так зовут кого-нибудь из ваших пастушек? – осведомился Даринто.

– Нет, – отвечал Элисо, – та, о которой я веду речь, возросла на далеких берегах славного Себето<sup>19</sup>.

– Что ты говоришь, пастух? – вскричал первый кавальеро.

– То, что вы слышите, – отвечал Элисо, – и вы можете услышать от меня еще больше, если разрешите мое сомнение.

– Поделись им со мной, – предложил кавальеро, – может статься, я и сумею его рассеять.

Тогда Элисо спросил:

– А вас, сеньор, не Тимбрио ли зовут?

– Ты угадал, – признался кавальеро, – точно, меня зовут Тимбрио, и хотя я предпочел бы до более благоприятного времени скрыть от тебя мое имя, однако желание знать, откуда оно тебе известно, велит мне открыть все, что ты желал бы знать обо мне.

– В таком случае, – продолжал Элисо, – вы не станете также отрицать, что эту даму зовут Нисида, а другую, если не ошибаюсь, Бланка и что это родные сестры.

– Все это истинная правда, – подтвердил Тимбрио, – но коли я ответил на все твои вопросы, то ответ теперь и ты: по какой причине ты обратился с ними ко мне?

– Благородная эта причина к вящему вашему удовольствию скоро откроется, – отвечал Элисо.

---

<sup>19</sup> Себето – речка в Кампанье (Италия).

Но тут не выдержал Дамон:

– Не томи ты Тимбрио, Элисо, раз что можешь ты его порадовать доброю вестью!

– А я, – подхватил Эрастро, – поспешу к несчастному Силеро с вестью о том, что Тимбрио отыскался.

– Благие небеса! Что я слышу! – воскликнул Тимбрио. – Что ты говоришь, пастух? Ужели это тот самый Силеро – верный мой друг, сокровище души моей? Я так мечтаю с ним свидеться! Более страстной мечты у меня сейчас нет. Рассей же мое сомнение, ибо оно все растет, подобно как растут и множатся твои стада на зависть соседям!

– Не волнуйтесь, Тимбрио, – заметил Дамон, – ведь Силеро, о котором толкует Элисо, и есть тот Силеро, о котором толкуете вы, тот, который думает не столько о собственном своем здоровье и благополучии, сколько о том, благополучно ли вы здравствуете на свете. Как он нам рассказывал, горечь разлуки с вами, а равно и другие утраты, которые он от нас также не утаил, столь сильно на него повлияли, что он поселился неподалеку отсюда, в небольшой пещере, и, ведя крайне суровую жизнь, мечтает ныне только о смерти, оттого что его жажда узнать о вас до сих пор не могла быть утолена. Все это доподлинно известно Тирсису, Элисо, Эрастро и мне, ибо он сам рассказал нам о вашей дружбе и обо всем, что с вами обоими произошло вплоть до того дня, когда роковое стечение обстоятельств вас с ним разъединило, а его обрекло на столь строгое уединение, что вы диву дадитесь, как скоро его увидите.

– Увидеть его и тут же умереть! – подхватил Тимбрио. – Так вот, зная, сколь свойственна вам, милые пастухи, жалость к людям, я прошу вас: сжальтесь вы надо мной и скажите, где та пещера, в которой живет Силеро!

– Лучше сказать, где он умирает, – поправил его Эрастро, – но появление ваше вернет ему жизнь, и коли вам не терпится порадовать его и себя, то вставайте, и мы вас проводим, с условием, однако ж, что по дороге вы расскажете нам обо всем, что с вами случилось после того, как вы уехали из Неаполя.

– Немногого же ты хочешь за такое великое одолжение! – заметил Тимбрио. – Да я не только это, а все что угодно готов тебе рассказать!

Затем он обратился к своим спутницам:

– Итак, счастливый случай избавляет нас с вами, драгоценная Нисида, от необходимости скрываться под чужими именами, на радостях же от получения столь доброй вести я осмеливаюсь обратиться к вам обоим с просьбой: пойдите скорее к Силеро, – ведь мы с вами, сеньора Нисида, обязаны ему жизнью и нашим счастьем.

– Меня не нужно просить, сеньор Тимбрио, о том, чего я сама так жажду, тем более, что мне так легко будет это исполнить! – молвила Нисида. – Поспешим же! Право, мне каждое мгновение представляется вечностью.

С теми же словами обратилась к Тимбрио и сестра Нисиды Бланка, которую, видимо, особенно радовала предстоящая встреча с Силеро. Дорогой

влюбленного

Тимбрио и красавиц-сестер, Нисиду и Бланку, охватило такое страстное нетерпение, что быстрый их шаг казался им слишком медленным; Тирсис же и Дамон, видя, что Тимбрио теперь не до того, не напоминали ему его обещание рассказать по пути к пещере обо всем, что с ним приключилось после того, как он расстался с Силерью.

Боясь взволновать отшельника неожиданным своим появлением, Тимбрио, Нисида и Бланка порешили к нему не входить. Опасения их были, однако ж, напрасны, ибо Тирсис и Дамон, заглянув в пещеру, с удивлением обнаружили, что там никого нет. Но в это самое время послышались звуки арфы, возвестившие им, что Силерью должен быть где-то поблизости, и, пойдя на звон ее струн, они его вскоре увидели: сидя на срубленном оливковом дереве, в полном одиночестве, если не считать вечной его спутницы – арфы, он извлекал из нее столь нежные звуки, что, дабы упиться сладостною их гармонией, пастухи не стали его окликать, а тут еще, как нарочно, Силерью чудным своим голосом запел эту песню:

Свои крылатые часы, о время,  
Поторопи! Я изнемог от мук.  
Ах, если мне ты хоть немного друг  
Знай: жизнь мою пресечь настало время.

Мое дыханье оборви в то время,  
Когда душе постыло все вокруг.  
Не медли! Дни пройдут, и злой недуг  
Меня отпустит, может быть, на время.

Не радостных часов прошу я, нет!  
Пусть мимо пролетят, – они бессильны  
Мне возвратить веселье прежних лет.

Мечтаю я сойти во мрак могильный,  
И мне желанен только смертный час:  
Он, он один от мук меня бы спас.

Пастухи, оставшись незамеченными, прослушали до конца всю песню и вернулись обратно с намерением предложить остальной компании нечто такое, о чем вы сейчас узнаете, а именно: сообщив, где находится Силерью и где они его отыскиали, Тирсис обратился к Тимбрио со следующей просьбой: пусть все незаметно подойдут поближе, а затем Тимбрио или Нисида что-нибудь споют. И все это Тирсис затеял, дабы продлить удовольствие, которое сулила отшельнику столь приятная встреча. Тимбрио согласился; Нисида, которой он передал просьбу Тирсиса, также изъявила согласие. И вот, когда они уже подошли так близко, что Силерью мог их слышать, Тирсис подал прелестной

Нисиде знак, и та начала петь:

Хоть благом обладаю я,  
Что мне несчетных благ дороже,  
Одно, утраченное, все же  
Жестоко мучает меня.  
Ко мне не ласков сын Венеры,  
И рок – отъявленный мой враг:  
Они дарят мне мало благ,  
А беды сыплют полной мерой.

В любви, хотя б ее звезда  
Счастливая сопровождала,  
Утехе каждой бед немало  
И мук сопутствует всегда.  
Что тесный строй привычен мукам,  
Кому изведать не пришлось?  
Утехи же приходят врозь, –  
Они не связаны друг с другом.

О том, как дорога цена  
Любого мига наслажденья,  
Надежды скажут и мученья,  
Которыми любовь полна.  
Мои об этом скажут очи,  
Чей блеск от скорби все бледней,  
И муки памяти моей,  
Которая и днем и ночью

О том мне шепчет, кто бы мог  
Ее спасти от вечной муки,  
Но с кем я в горестной разлуке,  
К кому не нахожу дорог.  
О ты, тому безмерно милый,  
Кто столь же почитал своим  
Тебя, сколь и себя твоим,  
И с кем пребуду до могилы!

Своим присутствием укрась  
Нечаянное наше счастье,  
Не превращай его в несчастье,  
Так долго вдалеке держась.  
Мне тяжело думать, что безумен  
Был ты когда-то, я же – нет,

А ныне я впадаю в бред,  
Меж тем как ты вполне разумен.

Тому, чьей стала я навек,  
Исполнивши твое желанье, —  
Что радости в завоеванье,  
С которым твой совпал побег?  
Тебя своей считал он частью,  
И чрез тебя могла б сейчас,  
Когда б ты не покинул нас,  
Я полного достигнуть счастья.

Если чарующий голос прекрасной Нисиды наполнил негой сердца ее спутников, то какие же чувства должен был вызвать он у Силерью, который, затаив дыханье, следил за всеми его переливами? Все это время ее голос пел в его душе, не умолкая, и вот теперь, придя в волнение и затрепетав от восторга при первых же его звуках, Силерью мгновенно превратился в слух и забыл обо всем на свете. И, хотя то был явно голос Нисиды, он все никак не мог этому поверить, ибо не чаял уже встретиться с нею, да еще в таких пустынных местах. Но в это время по знаку Дамона Тимбрио запел тот сонет, который он сочинил в разгар своего увлечения Нисидой и который Силерью знал не хуже его самого:

Моя надежда так несокрушима,  
Что всем ветрам дает она отпор  
И пребывает, им наперекор,  
Всегда тверда, светла, невозмутима.

Сонет остался недопетым, — Силерью и этого было довольно для того, чтобы по голосу узнать Тимбрио; он мигом вскочил и кинулся к нему на шею, однако от полноты чувств он не мог выговорить ни слова и стоял неподвижно, в каком-то оцепенении, так что присутствовавшие, решив к великому ужасу своему и прискорбию, что ему дурно, начали уже осуждать Тирсиса за неуместную его затею. Но никто так не сокрушался, как прекрасная Бланка, ибо она нежно любила Силерью. Вместе с сестрой своей Нисидой она поспешила к нему на помощь, и он вскоре очнулся.

— О всемогущее небо! — воскликнул Силерью. — Ужели предо мною верный мой друг Тимбрио? Тебя ли я, Тимбрио, слышу? Тебя ли я, Тимбрио, вижу? Так, это ты, если только судьба надо мною не насмехается и глаза мои меня не обманывают.

— О нет, милый мой друг! — отвечал Тимбрио. — Судьба над тобою не насмехается и глаза твои тебя не обманывают, — я тот, кто не жил все это время и кому не ожить бы вовек, когда бы небо вновь нас с тобой не соединило. Да иссякнут же слезы твои, друг Силерью, если только ты их из-за меня проливаешь, ибо перед тобою — я, и да сдержу я свои, ибо ты — передо мною,

ибо в награду за все напасти и беды я, счастливейший из смертных, ныне могу назвать Нисиду своею и могу неотрывно глядеть на тебя.

Только тут вполне уразумел Силерьо, что пела ту песню Нисида и что она же стоит перед ним; окончательно же он в том уверился, когда она сама обратилась к нему:

– Что все это значит, милый Силерьо? К чему это уединение и зачем на тебе эта одежда – знак безутешной печали? Верно, некое ложное заключение тому виною, верно, ввел тебя кто-то в обман, если мог ты решиться на такую крайность, не помыслив о том, что жизнь наша с Тимбрио в разлуке с тобой была бы до краев полна скорби – и все из-за тебя, даровавшего нам жизнь.

– Да, то был обман, прекрасная Нисида, – молвил Силерьо, – но раз что за ним скрывалась столь отрадная истина, то я готов благословлять его до конца моих дней.

Во время этого разговора Бланка не спускала с Силерьо глаз, держа его руку в своей и роняя слезу за слезою, – так она рада была его видеть и так болела у нее душа за него. Я не стану приводить здесь ласковые и нежные слова, какими обменялись Силерьо, Тимбрио, Нисида и Бланка, – все это было до того трогательно, до того умирительно, что глаза пастухов увлажнились слезами радости. Силерьо вкратце рассказал о том, как, не получая ни от кого известий, задумал он провести остаток дней своих в этой пещере, в полной безвестности и уединении, и от этих его слов в душе Тимбрио еще ярче запылал огонь любви и дружбы, а красавица Бланка прониклась еще большей к нему жалостью. Рассказав обо всем, что с ним приключилось с того времени, как он покинул Неаполь, Силерьо предложил Тимбрио последовать его примеру, ибо он страстно желал выслушать его повесть; при этом он предупредил его, что пастухов стесняться не должно, оттого что они уже осведомлены о связующей их тесной дружбе и о многих событиях из его жизни. Тимбрио охотно согласился. Когда же все, расположившись на зеленой лужайке, напрягли внимание, он начал рассказ о своих приключениях:

– После того, как столь же благосклонный, сколь и враждебный рок дал мне сперва одолеть моего недруга, а затем сразил меня самого ложным известием о смерти Нисиды, я, снедаемый скорбью неизъяснимою, прибыл в Неаполь, но, получив подтверждение, что Нисиды нет в живых, решил немедленно покинуть этот город, дабы не видеть больше ее родного дома, в стенах которого я виделся с нею, и дабы окна ее комнаты, дабы улицы и прочие места наших встреч беспрестанно не напоминали мне о былом счастье, и, пойдя наугад, без всякой определенной цели, дня через два очутился в Гаэте, где уже стоял корабль, который вот-вот должен был вступить под паруса и отойти к берегам Испании. Пустился я в плаванье лишь для того, чтоб навек сокрылась от очей моих ненавистная эта земля, где довелось мне вкусить неземное блаженство. Только успели проворные моряки выбрать якоря и поставить паруса, только успели мы выйти в море, как вдруг, откуда ни возмись, налетел ураган и с таким остервенением принялся трепать наше судно, что под его напором сломалась фок-мачта, а бизань-мачта дала огромную трещину. Тут

сбежались расторопные моряки и с величайшим трудом убрали все паруса, ибо ураган свирепел, море становилось все грознее, меж тем как небо предвещало долгую и страшную бурю. О возвращении в гавань нечего было и думать: мистраль дул с такой неистовой силой, что парус с фок-мачты пришлось поставить на грот-мачте и, ослабив, как выражаются моряки, носовой шкот, отдаться на волю стихий. И вот, влекомый их яростью, корабль с такою стремительностью понесся по бурному морю, что спустя два дня все острова остались у нас позади; не имея возможности пристать к какому-либо из этих островов, мы лишь проходили в виду их. так что ни Стромбсли, ни Липари не укрыли нас от бури, равно как и Цимбано, Лампедуза и Пантеллерия не послужили нам пристанитом; от Берберии же прошли мы так близко, что нам видны были недавно разрушенные стены Голеты, а затем и древние руины Карфагена показались. Путешественников объял великий страх: ведь если б ветер еще хоть немного усилился, то мы, обессиленные, принуждены были бы высадиться на земле наших врагов, однако в тот миг, когда это уже казалось неминуемым, о нас позаботилась сама судьба, а быть может, небо услышало наши обеты и клятвы, – словом, мистраль сменился южным ветром, и вот этот южный ветер, приближавшийся по силе к сирокко, еще через два дня к великой нашей радости пригнал нас в ту же самую гавань Гаэту, откуда мы вышли, и тут иные путешественники, исполняя обет, данный в минуту опасности, отправились на поклонение святым местам. Корабль простоял в гавани четверо суток, после же исправления повреждений, дождавшись благоприятной погоды и попутного ветра, снова снялся с якоря, и еще издали увидели мы живописную Геную с ее роскошными садами, белыми домиками и сверкающими шпилями башен, на которых солнечные лучи зажигали ослепительные отблески, так что больно было глазам. Упоительный этот вид хоть кого мог привести в восхищение, и точно: спутники мои им залюбовались, на меня же навеял он грусть. Единственное мое развлечение состояло в том, что я сетовал на свои невзгоды и воспевал, или, лучше сказать, оплакивал их под звуки лютни, принадлежавшей одному из моряков. И вот как-то ночью, помнится мне, – да и могу ли я этого не помнить, коли в ту ночь впервые забрезжил для меня утренний свет! – в час, когда на море воцарилась тишина, ветер упал и паруса повисли, в час, когда моряки, улегшись кто где, крепким сном спали и сам рулевой задремал, убаюканный штилем, который, как это ему предсказывало ясное небо, мог простоять еще долго, – в этот час, когда ничто кругом не нарушало безмолвия, я, окруженный роем печальных дум, не дававших мне сомкнуть вежды, поднялся на бак и, взяв лютню, начал слагать стихи, которые вы сейчас и услышите, ибо я хочу показать вам, сколь неожиданно вознесла меня судьба из бездны отчаяния к вершинам счастья. Вот что, если память мне не изменяет, я тогда пел:

Утихла буря, волн движение  
Замедлилось и улеглось,  
Но голос моего мученья



Пуškai гремит, чтоб удалось  
Найти для чувства выраженьє;  
Чтоб хоть немного дать понять,  
Как тяжело мне, как я всечасно  
Опять терзаюсь и опять,  
Душа и сердце громогласно  
Должны кричать и вопиять.

Любовь могучею рукою  
Меня взнесла сквозь муки ввысь,  
Но там я не обрел покоя, –  
Меня любовь со смертью вниз  
На лоно бросили земное.  
Бессмертной этою четой  
Жизнь прервана одна и страстью  
Уязвлена душа у той,  
Что в ней нашла себе несчастье,  
Как благо, принятое мной.

Отныне клики своенравной  
Молвы наполнят божий свет  
О мощи этой пары славной,  
О том, что в мире силы нет,  
Которая была б ей равной.  
И как не прославлять дела,  
Что эта пара совершила?  
Жизнь молодую унесла  
Одна из них под сень могилы,  
Другая – сердце мне сожгла.

Но раз я от своих мучений  
Не умер, не сошел с ума,  
То неизбежно заключение:  
Или бессильна смерть сама,  
Или лишен я разума.  
Кто может жить, его лишаешь?  
От мук, что мне больней, чем змеи,  
Грудь жалят бедную подчас,  
Я, жизнью даже сто имея,  
Их все утратил бы сто раз.

С моей победой смерть совпала,  
Что жизнь такую прервала,  
Какой доселе не бывало;

Она – безгрешна и светла –  
Нездешней красотой сияла.  
Увы, на дней моих чреду  
Легла кончина эта тенью;  
Горю в мучительном аду,  
От вечного в душе смятенья  
Нигде покоя не найду.

Зачем меня ты не сразила,  
Рука противника, тогда?  
Меня бы ты освободила  
Одним ударом навсегда  
От тяготы моей постылой.  
Я победил, но как тяжка  
За этот мой успех расплата!  
Меня преследует тоска.  
За миг отрады рок проклятый  
Велит мне слезы лить века.

Ты, небо, бед моих причина!  
Ты, смерть, палач моих отрад!  
Ты, моря грозная пучина!  
И ты, любовь, мой рай и ад!  
Пошлите мне скорей кончину!  
Отдам тебе, о небо, дух,  
Тебе же – плоть, пучина моря,  
А ты, любовь, по свету слух  
Неси, что я зачах от горя,  
Что блеск очей моих потух.

О небо, смерть, любовь и море!  
На помощь призываю вас.  
Я со своей судьбой в раздоре.  
Ко мне приблизьте смертный час, –  
Лишь он мое развеет горе.  
Коль небо не захочет взять  
Мой дух, а плоть – волна морская,  
Коль смерть напрасно буду звать,  
От мук любовных изнывая, –  
Откуда мне спасенья ждать?

Помнится мне, что дальше продолжать я не мог: в наболевшей груди моей теснились рыдания и стоны, перед мысленным взором моим проходили все былые несчастья, и от одной лишь душевной муки я внезапно лишился чувств.

И так я долго лежал без памяти, а когда тягостное это состояние прошло и я открыл томные свои очи, то увидел, что какая-то женщина в одежде странницы держит мою голову у себя на коленях, а другая, одетая так же, сидя возле меня, держит мои руки, и обе горькими слезами плачут. Я был так изумлен и растерян, что все это показалось мне сном, ибо доселе ни разу не встречал я на корабле этих женщин. Однако ж прелестная Нисида, – а ведь это она под видом странницы передо мною предстала, – тотчас вывела меня из оцепенения, воскликнув:

«Ах, Тимбрио, истинный мой повелитель и друг! Какие ложные домыслы, какие печальные происшествия довели вас до этого? А ведь нам с сестрой пришлось из-за вас пренебречь своей честью, пришлось оставить возлюбленных родителей наших, менять привычную одежду на одежду странниц и, невзирая ни на какие препятствия, искать встречи с вами, дабы доказать вам, сколь ложен был слух о том, что я умерла, – слух, который вполне мог явиться причиной вашей, Тимбрио, смерти».

Слова Нисиды окончательно уверили меня, что я не грежу, что все это не сон и что не воображению моему, всечасно с ней пребывавшему, обязан я тем, что вижу ее теперь наяву. Я забросал сестер вопросами, и ни одного из них они не оставили без ответа, уверив меня предварительно, что я в здравом уме и что предо мною, точно, Нисида и Бланка. Когда же я услышал это из их уст, то уже от радости, а не от горя чуть было снова не потерял сознание. Далее Нисида рассказала мне, как из-за роковой ошибки с платком и из-за твоей, Силерьо, беспечности она, вообразив, что со мною случилась беда, упала в обморок, и этот глубокий обморок всеми, не исключая и нас с тобою, Силерьо, был принят за смерть. Еще узнал я от Нисиды, что по прошествии некоторого времени она очнулась и что когда до нее дошли слухи о моей победе, а также о моем внезапном и поспешном отъезде и о твоём, Силерьо, исчезновении, то она готова была совершить нечто такое, после чего вновь распространился бы слух о ее кончине, и на сей раз уже верный. Однако ж в последнюю минуту что-то удержало ее от этого шага, а вместо этого они с Бланкой задумали бежать, переодевшись странницами, что однажды ночью, по дороге в Неаполь, им и удалось с помощью ловкой служанки, и в ту же ночь родители их вернулись в Неаполь, а сестры добрались до Гаэты; прибыли же они в эту гавань как раз, когда на нашем корабле были исправлены все причиненные бурей повреждения и он готовился к отплытию. Сказав капитану, что они направляются в Испанию, в галисийский город Сант Яго, и уговорив его взять их с собой, сестры сели на корабль с тайным намерением пробраться в Херес, где они рассчитывали встретить меня или, по крайней мере, что-нибудь обо мне узнать. Капитан отвел им помещение в носовой части судна, и четверо суток они оттуда не выходили; как же скоро до них донеслось мое пение, они, узнав меня по голосу и по содержанию известной вам песни, явились ко мне, а что произошло дальше – вы уже знаете; ознаменовав счастливую нашу встречу слезами радости, долго глядели мы друг на друга, но никто из нас не находил слов для выражения внезапного и нечаянного своего восторга – восторга, который, все

возрастая, достиг бы тех границ и пределов, коих он достиг ныне, когда бы мы хоть что-нибудь знали о тебе, друг Силерьо. Радость ведь никогда не бывает полной, чем-либо не омраченной: так точно и наша радость омрачалась тем, что тебя не было с нами и что ты не подавал о себе вестей.

Светлая ночь, приятный, прохладой веявший попутный ветер, который в это самое время начал уже осторожно шевелить паруса, тихое море, безоблачное небо — все, казалось, и вместе и порознь, праздновало нашу встречу и разделяло радость наших сердец. Однако ж непостоянная Фортуна, чей нрав известен своей переменчивостью, позавидовала нашему счастью и наслала на нас величайшее из всех несчастий, от коего нас потом избавило время и благоприятное стечение обстоятельств. Вот как было дело: чуть только ветер усилился, заботливые моряки прибавили парусов, вызвав этим всеобщее ликование и обеспечив себе и другим скорый и благополучный конец путешествия. Но в это время один из тех, кто сидел на корме, увидев при свете полной луны, что к нашему кораблю, подгоняемые широкими взмахами весел, с великой поспешностью и быстротой приближаются четыре многовесельных судна, и тотчас догадавшись, что это вражеские суда, начал громко кричать: «К оружию, к оружию! Турецкие суда показались!» Этот внезапно раздавшийся боевой клич посеял в наших сердцах тревогу, и мы, еще не сознавая всей опасности своего положения, испуганно переглянулись. Наш капитан, оказавшийся человеком бывалым, поднявшись на корму, дабы определить, каких размеров эти суда и сколько их всего, обнаружил еще два и установил, что это вооруженные галиоты, от коих немалой беды ожидать должно. Не теряя, однако, присутствия духа, он тут же приказал, пока вражеские суда будут разворачиваться, выдвинуть орудия и взять паруса на гитовы с тем, чтобы потом врезаться в гущу вражеских судов и открыть огонь на оба борта. Моряки бросились к орудиям и, заняв каждый свое место, изготовились к встрече с противником.

Могу ли я передать вам, сеньоры, то мучительное чувство, которое я испытывал, видя, как стремительно рушится мое счастье и как близок я к тому, чтобы утратить его окончательно? Однако еще тяжелее мне было смотреть на Нисиду и Бланку: в ужасе от поднявшегося на корабле грохота и шума, они молча переглядывались, я же умолял их запереться у себя и молить бога, чтобы он не предавал нас в руки врагов. Мгновения эти были таковы, что как вспомнишь о них, воображение тотчас никнет. Обильные слезы Нисиды и Бланки, а также те усилия, которые я прилагал, чтобы удержать свои, не давали мне подумать о том, что я должен делать и как мне следует и подобает вести себя в минуту опасности. Все же я доставил близких к обмороку сестер в отведенное им помещение и, заперев их снаружи, бросился к капитану за получением приказаний. Вверив спутнику моему Даринто охрану юта, а мне — охрану бака, заботливый наш капитан, отличавшийся редким благоразумием и предусмотрительностью, вместе с некоторыми моряками и путешественниками предпринял тщательный и подробный осмотр корабля. Противник не замедлил подойти к нам на близкое расстояние, и в довершение всех наших бед не

замедлил утихнуть ветер. Наступившее безветрие не дало, однако, противнику возможности сцепиться с нами вплотную, и он положил ждать рассвета. Так он и поступил, и на рассвете мы насчитали уже не шесть, а пятнадцать крупных судов, что сулило нам верную гибель. Со всем тем отважный капитан, равно как и его команда, духом не пал; он отдал приказ внимательно следить за действиями турок, – турки же, чуть свет спустив на воду с флагманского судна шлюпку, выслали к нам для переговоров некоего вероотступника, и этот вероотступник сказал нашему капитану, чтобы он сдавался, ибо против стольких судов ему все равно, мол, не устоять, тем более что это лучшие алжирские суда; если же, – добавил вероотступник, – наш корабль хоть раз выпалит по туркам, то капитана их главный начальник арнаут Мами вздернет на рее и не пощадит и других. Вероотступник настойчиво уговаривал капитана сдаться, но тот предложил ему убраться восвояси, а не то, мол, он, капитан, велит своим канонирам пустить его шлюпку ко дну. Выслушав ответ капитана, арнаут приказал зарядить все орудия и столь яростно и неумолчно принялся обстреливать нас, что от одного грохота можно было сойти с ума. Мы тоже открыли огонь, да еще такой меткий, что малое время спустя нам удалось потопить турецкое судно, атаковавшее наш корабль с носа: ядро повредило ему баргоут, другие суда не сумели прийти к нему на помощь, и потерпевшее судно стало добычей волн. Но это лишь ожесточило турок: за четыре часа мы выдержали четыре их атаки, причем они всякий раз отступали, сами терпя огромный урон и нам нанося немалый.

Боясь утомить вас подробным изложением хода событий, скажу лишь, что после шестнадцатичасового боя, после того как был убит наш капитан и почти все матросы, разъяренные турки, предприняв десятый по счету абордажный приступ, ворвались на корабль. Изъяснить же, какую муку я терпел от сознания, что две мои драгоценные жемчужины, коих лицеизреньем ныне я наслаждаюсь, попадутся и достанутся этим хищным зверям, я был бы не в силах, даже если б хотел. И вот, влекомый гневом, который во мне пробудила сия ужасная мысль, я с голыми руками ринулся на врагов, ибо легче мне было пасть от свирепости их мечей, нежели допустить, чтобы на моих глазах свершилось то, чего я ожидал. Судьба, однако ж, распорядилась иначе: в меня вцепились три ражих турка, я стал от них отбиваться, в пылу драки мы со всего размаху толкнули дверь, за которой находились Нисида и Бланка, дверь, не выдержав столь сильного напора, мгновенно рухнула, и, как скоро глазам алчных врагов открылось таившееся от них доселе сокровище, один из них схватил Нисиду, другой – Бланку, я же, вырвавшись из рук третьего турка и ударив его с такой силой, что он тут же испустил дух, собирался так же точно разделаться и с остальными, но те, бросив свою добычу, нанесли мне две тяжкие раны, после чего я потерял сознание, и тогда Нисида, припав к моему окровавленному телу, жалобным голосом начала умолять турок умертвить и ее.

В это время, привлеченный воплями и стенаниями Нисиды и Бланки, в каюту вошел командующий турецким флотом арнаут и, спросив у моряков, что тут происходит, распорядился перевести женщин на свою галеру, а как я

подавал признаки жизни, то по просьбе Нисиды велел он вместе с ними переправить и меня. Когда же я, в бессознательном состоянии, был доставлен на флагманскую галеру, Нисида, в расчете на то, что корыстолюбивые турки, соблазнившись выкупом, который могут они за меня получить, обратят внимание на мое здоровье, сказала капудан-паше, что я человек весьма состоятельный и знатный, и тем обеспечила мне сносный уход. Случилось, однако ж, так, что во время перевязки жестокая боль привела меня в чувство, и, оглядевшись по сторонам, я увидел, что нахожусь в плену у турок, на вражеской галере. Но еще горше было мне видеть Нисиду и Бланку сидящими на палубе у ног собаки-капудана и проливающими потоки слез, что являлось знаком беспредельной их скорби. Ни ожидание позорной смерти, от которой ты, добрый друг мой Силерью, избавил меня, когда мы встретились с тобой в Каталонии, ни ложное известие о смерти Нисиды, которому я поверил, ни боль от моих смертельных ран и никакая иная беда не причиняли мне и не могли причинить таких страданий, как то, что Нисида и Бланка находятся во власти нечестивого турка и что чести их грозит столь близкая и явная опасность. От этой горестной мысли я снова впал в беспамятство, после чего пользовавший меня лекарь отчаялся вернуть мне здоровье и жизнь; будучи уверен, что я уже мертв, он прекратил перевязку и объявил, что я перешел в мир иной. Что должны были испытывать, получив такое известие, несчастные сестры – об этом Пусть они скажут вам сами, если только найдутся у них слова, я же узнал потом, что они вскочили и, рвя на себе волосы, эти чудные золотистые волосы, и царапая прекрасные свои лица, устремились к моему бесчувственному телу, так что никакая сила не могла их удержать, и жалобный их плач смягчил даже каменные сердца варваров. То ли слезы Нисиды, капавшие мне на лицо, то ли сильная боль, которую мне причиняли незаживавшие раны, привела меня в чувство, но только я снова очнулся, для того чтобы тотчас же вспомнить о новом моем горе. Боясь омрачить нашу общую радость, я не стану приводить вам жалостные и нежные слова, коими в злосчастную ту минуту обменялись мы с Нисидой, равно как не стану подробно описывать борьбу, которую пришлось вести Нисиде с арнаутом и о которой она сама мне рассказала; должно заметить, что, очарованный ее красотой, капудан-паша всякого рода обещаниями, подарками и угрозами добивался от нее, чтобы она откликнулась на зов преступной его страсти, однако, держа себя с ним столь же непреклонно, сколь скромно, и столь же скромно, сколь непреклонно, она весь день и всю ночь отбивалась от несносной назойливости корсара. Но как присутствие ее с каждым мгновением все сильнее распаляло в нем похоть, то можно было опасаться, – а я и впрямь испытывал живейшие опасения, – что, не вняв ее мольбам, он применит силу; зная же душевную чистоту Нисиды, можно было предположить заранее, что он скорей отнимет у нее жизнь, нежели честь.

Наконец Фортуна, дабы мы еще раз уверились, что не напрасно идет молва об изменчивом ее нраве, пожелала извлечь нас из пучины бедствий, но не прежде, нежели мы в грозный час воззвали к небу о помощи, ибо гибелью грозили нам высокие волны вдруг разбушевавшегося моря; надобно вам знать,

что на третий день нашего плена, как скоро мы взяли курс прямо на Берберию, подул бешеный сирокко; море, обрушивая на нас целые водяные горы, совсем уже захлестывало пиратскую армаду, и тогда выбившиеся из сил гребцы, сложив весла, прибегли к испытанному способу перемещения паруса с фок– на грот-мачту, а затем отдались на волю ветра и волн, ураган же все усиливался и в какие-нибудь полчаса рассеял и разметал турецкие суда в разные стороны, так что ни одно из них не могло уже следовать за флагманским судном; словом, все суда мигом разбросала буря, а наше всеми покинутое судно оказалось в наиболее опасном положении, ибо вода с такой быстротою вливалась во все его щели, что, сколько ее ни вычерпывали, все же в трюме доходила она до колен. И, к умножению всех наших несчастий, настала ночь, всегда в подобных случаях наводящая страх и уныние, а тут еще такая темная и такая бурная, что у всех нас, сколько нас ни было, сколько-нибудь твердая надежда на спасение уступила место отчаянию. Довольно сказать, сеньоры, что турки умоляли пленных христиан, которых они посадили за весла, призвать на помощь Христа и всех святых и помолиться об избавлении от такой страшной напасти, и далекое небо, услышав мольбы несчастных христиан, сжалилось над ними, но, сжалившись, оно не укротило бурю – напротив, порывы ветра становились все неистовее и стремительнее, и на рассвете, который мы могли определить лишь по песочным часам, наше плохо управляемое судно так близко подошло к берегу Каталонии, что команда, ввиду полной невозможности от него отойти, вынуждена была прибавить парусов для того, чтобы поскорее пристать к видневшейся впереди широкой песчаной отмели: рабство уже не пугало турок, страх смерти оказался сильнее.

Не успела галера пристать, как на берегу появилось множество вооруженных людей, чья одежда и говор указывали на то, что это каталонцы; пристали же мы неподалеку от того городка, где, рискуя собственной жизнью, ты, друг Силерью, спас жизнь мне. Кто взялся бы описать вам восторг христиан, очутившихся на свободе и сбросивших с себя тяжкие и несносные оковы горестного плена, и кто взялся бы изобразить ужас турок, еще недавно свободных, а ныне вынужденных слезно молить бывших своих пленников отвести от них гнев возмущенных каталонцев, ибо те собрались на берегу, побуждаемые желаньем отомстить за зло, которое им причинили эти же самые турки, разграбив их городок, чему ты, Силерью, явился свидетелем! И страх турок был не напрасен: ворвавшись на галеру, врезавшуюся носом в песок, каталонцы учинили им столь жестокую резню, что лишь весьма немногие из корсаров остались в живых.

Сойдя на берег и оглядев знакомые места, я тотчас уразумел всю опасность своего положения, и от мысли, что меня могут узнать и подвергнуть незаслуженной каре, мне стало не по себе, а потому я попросил Даринто, предварительно объяснив ему мои обстоятельства, возможно скорее переправить нас всех в Барселону. Но как раны мои все еще на заживали, то я принужден был на несколько дней здесь задержаться, приняв меры к тому, чтобы, кроме врача, никто из местных жителей про то не узнал. Пока Даринто

ездил в Барселону, дабы произвести необходимые закупки, мне стало лучше, я уже чувствовал себя бодрее, и, как скоро он возвратился, мы, все четверо, отправились в Толедо к родственникам Нисиды узнать о ее родителях, которым мы уже сообщили в письме обо всех происшествиях, попросив прощения за то, в чем мы перед ними провинились. И во все время нашей с тобою разлуки, Силерьо, отсутствие твое каждый раз облегчало муку, которую нам доставлял любой из описанных мною несчастных случаев, или же, напротив, омрачало радость, которую нам доставлял случай счастливый. Но раз что небо избавило нас от всех бед и напастей, то нам остается лишь возблагодарить его за все явленные им чудеса, тебе же, друг Силерьо, – рассеяв былую грусть, самому преисполниться веселья и постараться развеселить ту, что из-за тебя веселье позабыла давно, о чем ты узнаешь подробнее, когда мы останемся с тобою наедине. Я мог бы еще кое-что рассказать о своих странствиях, да боюсь, что длинная повесть моя и так уже наскучила пастухам, которым я всецело обязан счастьем моим и блаженством. Вот, друг Силерьо, и вы, друзья пастухи, вся моя история: судите же, какое название после всего, что мне пришлось испытать и что я испытываю ныне, мне больше пристало: несчастнейшего или счастливейшего человека в мире.

Так закончил свою повесть ликующий Тимбрио, и счастливая ее развязка вызвала всеобщее ликование, Силерьо же в неописуемом восторге снова бросился к нему на шею, а затем, – снедаемый желаньем узнать, кто сия особа, которая из-за него лишилась покоя, – извинившись перед пастухами, отозвал Тимбрио в сторону, и тот ему сообщил, что прекрасная Бланка, сестра Нисиды, давно уже любит его больше жизни.

Наутро кавальеро, дамы и пастухи, пребывавшие на верху блаженства, отправились в деревню; с ними, уже в ином одеянии и в ином расположении духа, шел и Силерьо, из отшельника превратившийся в веселого жениха, ибо он уже обручился с прекрасною Бланкой на радость и себе, и ей, и добрым друзьям своим Тимбрио и Нисиде, склонявшим его на этот брак, и тем положил конец своим горестям, душа же его, истерзанная бесплодной мечтою о Нисиде, обрела наконец мир и покой. Доро́гой Тирсис попросил Тимбрио спеть тот сонет, который ему накануне не дал закончить Силерьо, и Тимбрио, сдавшись на уговоры, нежным и чудесным своим голосом запел:

Моя надежда так несокрушима,  
Что всем ветрам дает она отпор  
И пребывает, им наперекор,  
Всегда тверда, светла, невозмутима.

Свою любовь святыней нерушимой  
Считаю я, ей изменить – позор.  
Мне легче погасить навек свой взор,  
Чем потерять доверие к любимой.



Влюбленный, в чьей груди все вновь и вновь  
Сомненьями пятнается любовь,  
Ее святого мира недостоин.

Мне Сцилла и Харибда не страшны.  
Любви, равно как прихотям волны,  
Подставляю грудь, уверен и спокоен.

Самый этот сонет и прелестное его исполнение так понравились всем пастухам, что они стали умолять Тимбрио еще что-нибудь спеть, но тот попросил своего друга Силерью, неизменно приходившего к нему на помощь в более опасных случаях, выручить его и на этот раз. Не мог отказать своему другу Силерью и, весь сияя от счастья, запел:

От грозных волн соизволеньем бога  
На берег спасся я, и предо мной –  
Уединенной пристани покой;  
Стою, дивясь, у твердого порога.

Свой парус может опустить тревога,  
Челн – отдохнуть, обет исполнить свой –  
Тот, кто его, от страха чуть живой,  
Не раз под грохот бурь шептал дорогой.

Целую землю, к небу возношу  
Благодаренье за удел счастливый  
И с радостной готовностью спешу,

Исполненный горячего порыва,  
Усталой головой склониться вновь  
Под иго нежное твое, любовь.

Кончив петь, Силерью предложил Нисиде огласить своим пеньем поля, и та, взглядом попросив позволения у своего любимого Тимбрио, после того, как он взглядом же ответил ей утвердительно, с очаровательнейшею приятностью начала петь этот сонет:

Нет, я нисколько с теми не согласна,  
Кто утверждает, что любовь дает  
Отрад безмерно меньше, чем тягот,  
Что от нее блаженства ждем напрасно.

Мне ведомо, что значит быть несчастной,  
Мне ведом также к счастью поворот,

И я скажу: тяготы все не в счет  
Пред днем, исполненным отрады ясной.

Ни вызванная вестью роковой  
Борьба меж смертью горькою и мной,  
Ни дни неволи под пиратской властью

Мой дух не в силах были так сломить,  
Чтоб нынче не могла я вновь ожить  
И бесконечно ликовать от счастья.

Исполнив просьбу Силерьо, Нисида объявила, что теперь очередь Бланки, и та, не заставив себя долго упрасивать, столь же очаровательно спела этот сонет:

То жег мне сердце ярый пламень, точно  
Оно в ливийский попадало зной,  
То страх сжимал его своей рукой,  
Подобный хладу Скифии полночной.

Я вечным счесть могла б сей круг порочный,  
Но дух всегда поддерживала мой,  
Мне обещая сладостный покой,  
Надежда милая, оплот мой прочный.

Зимы простыл и след, ушла она,  
И хоть огонь пылает, как и прежде,  
Явилась долгожданная весна.

И мне за то, что я в своей надежде  
Была неколебима и тверда,  
Дано вкусить от сладкого плода.

## Путешествие на Парнас

### К читателю

Если, любознательный читатель, ты случайно окажешься поэтом и в твои (хотя бы и грешные) руки попадет мое *Путешествие* и если ты обнаружишь, что тебя назвали и упомянули в числе хороших поэтов, то за эту честь воздай хвалу Аполлону<sup>20</sup>; если же не обнаружишь, все равно воздай ему хвалу. И да

<sup>20</sup> Аполлон – бог искусства, покровитель муз.

хранит тебя господь.

Какой-то перуджиец Капорали<sup>21</sup>, –  
Таких в Элладе за высокий ум,  
А в Риме за отвагу почитали, –

Решился раз, надменных полон дум,  
Уйти в тот край, где обитают боги,  
И средь камен<sup>22</sup> забыть столичный шум.

Храбрец пустился на Парнас<sup>23</sup>. В дороге  
Он мула престарелого купил,  
Развалину, хромую на все ноги.

Был оный мул в кости широк, но хил.  
От худобы с могильной тенью схожий,  
Он тяжестей давно уж не возил

И обладал такою жесткой кожей,  
Что хоть сдери да набивай на щит.  
А норовом – умилосердись, боже!

Весна ль сияет, вьюга ли свистит,  
Мул, не споткнувшись, не пройдет и шагу.  
На той скотине храбрый наш пиит

Отправился к Парнасу, и бродягу  
Близ вод кастальских<sup>24</sup> встретил Аполлон  
И наградил улыбкой за отвагу.

Когда ж домой вернулся нищим он  
И всем, что видел, с миром поделился,  
Он сразу был молвой превознесен.

---

21 *Перуджиец Капорали*. – Чезаре Капорали, родом из Перуджии, второстепенный итальянский поэт (1531–1601), опубликовал в 1582 году шуточную поэму «Путешествие на Парнас».

22 *Парнас* – гора в Греции; согласно мифологии, местопребывание Аполлона и муз.

23 *Камены* – музы.

24 *Близ вод Кастальских...* – Кастальский ключ – источник на Парнасе, посвященный Аполлону и музам.

Увы! Я сладкоутом не родился!  
Чтоб изошрить мой грубый, тяжкий слог,  
Я на веку немало потрудился,

Но стать поэтом не сподобил бог.  
Я рвался духом на Олимп священный,  
Где плещет Аганиппы светлый ток<sup>25</sup>,

Где, влагой насладясь благословенной,  
Обрел бы красноречье мой язык –  
Пусть не для песен музы вдохновенной,

Так для писанья пышнословных книг.  
Я пред собою видел путь опасный,  
Я трудности грядущие постиг,

Но что могло сломить порыв мой страстный?  
Уже восторгом наполнялась грудь,  
В ней славолюбья жар пылал прекрасный,

Он облегчал, он сокращал мой путь.  
Я возмечтал о подвиге суровом,  
Я жаждал воздух тех вершин вдохнуть,

Свое чело венчать венком лавровым,  
Апонте в красноречьи посрамив  
И в острословьи став Галарсой<sup>26</sup> новым

(Покойник был, как Родомонт, хвастлив),  
И, наконец, влекомый заблужденьем,  
Осуществить решил я свой порыв;

Я оседлал с великим дерзновеньем  
Упрямый рок, привесив за седлом  
Одно лишь право следовать влеченьям,

И поскакал, покинув отчий дом.  
Читатели, тут нечему дивиться, –  
Вы все знакомы с этим скакуном,

---

<sup>25</sup> ...Аганиппы светлый ток – источник в Греции, который возник будто бы от удара копыта Пегаса. Пившие из него исполнялись поэтического вдохновения.

<sup>26</sup> Галарса. – Речь идет о Бертроне де Галарса; он пользовался большой популярностью в Мадриде и Севилье как мастер рассказывать анекдоты, за которые неоднократно подвергался тюремному заключению.

И где бы вам ни выпало родиться, –  
В Кастилии, или в земле другой, –  
До гроба всяк изволь на нем носиться!

А конь таков: он то летит стрелой,  
То тащится, как мерин хромоногий,  
Как будто воз он тянет за собой.

Но невесом поэта скарб убогий,  
Богатствами поэт не наделен.  
Когда пошлют ему наследство боги,

Его умножить не умеет он,  
Швырнет дублон, как мелкую монету, –  
Тому виной – великий Аполлон.

Лишь он внушает замыслы поэту.  
Кто чтит его божественный закон,  
Тот не сойдет на низкий путь наживы,

За прибылью не гонится ни в чем.  
В себе лишь бога чувствуя призывы,  
Поэт священным шествует путем,

Возвышенный, иль строгий, иль шутливый,  
То воспоет он ярой битвы гром,  
То нежные любовников обеты,

Величье гор, иль прелесть ручейка,  
И дни его виденьями согреты,  
И жизнь подобна жизни игрока.

Ткань, из которой созданы поэты,  
Упруга и податливо-мягка.  
Их по земле ведет воображение,

Их носит прихоть на крылах живых,  
Восторги им дарует вдохновение.  
Не звон червонцев, но звенящий стих –

Вот власть их, вот их сила, вот услада!  
Пускай молва что хочет врет о них!  
Я сам, друзья, поэт такого склада.

Как лебедь, голова моя седа.  
С вороньим хрипом в месяц листопада  
Схож голос мой, простуженный всегда.

Не обтесали мой талант нимало  
Ни тяжкий труд, ни долгие года.  
Не раз, когда вскарабкаться, бывало,

На колесо Фортуны я хотел,  
Оно капризный бег свой прекращало.  
Но все ж, узнать желая, где предел,

Который мне определило небо,  
Каков высоких помыслов удел,  
Я захватил немного сыру, хлеба –

Столь малый груз не отягчал в пути –  
И скакуна погнав к чертогам Феба<sup>27</sup>.  
Я восклицал: «Отечество, прости!

Прощай, Мадрид, и ты прощай, о Прадо<sup>28</sup>,  
И нищий кров, приют мой с юных дней,  
Прощай, фонтанов летняя прохлада,

И вы, беседы в обществе друзей,  
Единственная помощь и отрада  
Для тех, кто ищет места потеплей!

Прощай, моя прекрасная столица,  
Земля богопротивной старины<sup>29</sup>,  
Где в стан гигантов Зевсова десница

Метала громы<sup>30</sup> с горней вышины,  
Где глупость балаганами гордится,  
В которых лишь глупцы вознесены.

Прощай и Сан Фелипе<sup>31</sup>, на котором

---

27 ...к чертогам Феба – то есть на Парнас.

28 Прадо – аллея в старом Мадриде, излюбленное место для прогулок.

29 Земля богопротивной старины – то есть языческой старины.

30 ...в стан гигантов Зевсова десница метала громы... – По преданию, Испания была местом битвы между Зевсом и титанами.

31 Сан Фелипе – место в Мадриде, куда собирались для того, чтобы узнавать новости дня.

(Как суеслов венецианский<sup>32</sup> врет,  
Читателей питая всяким вздором)

Турецкий пес гуляет взад-вперед,  
Где наш идальго свой блюдет декорум,  
Хоть подвело от голода живот.

Я не хочу ни тенью стать, ни тленом,  
Я от себя, от родины бегу!...»  
Так рассуждая, подошел я к стенам,

Белевшим на приморском берегу, –  
То город, что зовется Карфагеном.  
Поистине, я вспомнить не могу

Средь гаваней, доступных мореходам,  
Открытых солнцу и морской волне,  
Другой, равно известной всем народам!

Еще дремал в рассветной тишине  
Весь окоем под бледным небосводом,  
И вспомнил я о том великом дне,

Когда под гордым стягом Дон Хуана<sup>33</sup>  
Я, скромный воин, не жалея сил,  
Не думая, грозит ли смерть иль рана,

С достойнейшими славу разделил  
В бою, где мы громили рать султана,  
Где, потеряв и мужество и пыл,

Свои знамена он покрыл позором.  
Уже зари алела полоса,  
А я глядел нетерпеливым взором

Туда, где с морем слиты небеса:  
Не выются ли над плещущим простором  
Наполненные ветром паруса?

---

32 *Суеслов венецианский*. – Речь идет о венецианских газетах. Первая газета в Европе стала выходить в начале XVII века в Венеции. Они продавались за монету «gazetta», которая имела тогда хождение в Венеции.

33 *...под гордым стягом дон Хуана...* – Речь идет о доне Хуане Австрийском (1547–1578), побочном сыне Карла V, под командой которого была одержана победа над турецким флотом в заливе Лепанто 7 октября 1571 года.

И вот внезапно в просветленной дали  
Галера встала, как виденье сна.  
Распущенные флаги трепетали,

Она была громадна и стройна.  
Моря еще подобной не видали,  
Не возлагал Нептун на рамена.

Едва ль Юнона в гневе за обиду  
Стремилась в бой столь грозный галион,  
Едва ли Арго, мчавшийся в Колхиду<sup>34</sup>,

Был так богато, пышно оснащен.  
Меж тем заря, свою подняв эгиду,  
Пожаром охватила небосклон,

И в полной славе солнце показалось.  
Вот судно в гавань медленно вошло  
И мягко на волнах заколыхалось.

Загрохотали пушки тяжело.  
Толпа давно ждала и волновалась,  
И нетерпенье зрителей росло.

Приветственная музыка звучала,  
Звенели скрипки, вторил флейтам рог.  
Корабль остановился у причала,

И в свете солнца каждый видеть мог,  
Как все на нем изяществом дышало.  
Но вот спустили на воду челнок,

Матросы, златотканными коврами  
Его устлав, на весла перешли,  
И, двинутая мощными гребцами,

Уже ладья касается земли.  
Тогда явился некий муж пред нами,  
Его вельможи на руках несли.

---

34 ...Арго, мчавшийся в Колхиду... – По преданию, Юнона (Гера) помогла аргонавтам, отправлявшимся за золотым руном в Колхиду, выстроить корабль из пелионских сосен, причем в переднюю часть судна был вложен кусок от наделенного человеческой речью додонского дуба.



Едва увидев облик величавый,  
Уже я знал, отколь он, кто таков:  
И жезл в руке<sup>35</sup>, как символ мысли здоровой,

И крылья ног – то вестник лжебогов,  
Расчетливый, суровый и лукавый,  
Меркурий к нам спустился с облаков,

Так часто в Рим, на землю славы бранной,  
Для хитрых козней нисходивший бог.  
Он осчастливил этот берег песчаный

Прикосновеньем окрыленных ног,  
И, пламенным порывом обуянный,  
Пред гостем нищ упал я на песок.

Ко мне Меркурий с речью обратился  
И спросил торжественным стихом:  
«Адам поэтов<sup>36</sup>, как ты опустился!

Сервантес, ты ль в обличий таком?  
Зачем в дорогу нищим ты пустился?  
К чему висит котомка за плечом?»

Я, встав, сказал с улыбкой виноватой:  
«Сеньор, я отправляюсь на Парнас,  
Но, нищетой измученный проклятой,

Другой одежды в путь я не припас».  
И благосклонно мне сказал крылатый:  
«О дух, затмивший и людей и нас!

Достоин и богатства ты и славы  
За доблесть бескорыстную свою.  
Когда кипел над морем спор кровавый<sup>37</sup>,

Сравнился ты с храбрейшими в бою  
И в этот день для вящей славы правой  
Утратил руку левую свою.

---

35 *..жезл в руке... крылья ног...* – Меркурия изображали в виде юноши с крыльями на подошвах, с золотым жезлом в руке.

36 *Адам поэтов* – то есть старейший из поэтов.

37 *Когда кипел над морем спор кровавый...* – Речь идет о битве при Лепаито.

Я знаю – гений пламенный и смелый  
Тебе послал не даром Аполлон.  
Твой труд проник уже во все пределы,

На Росинанте путь свершает он.  
И зависти отравленные стрелы  
Не создают великому препон.

Ступай же ввысь, где обитают боги,  
Путь на Парнас открыт перед тобой.  
Там Аполлон от верных ждет подмоги,

В союзники зовет он гений твой.  
Но торопись прийти в его чертоги!  
Туда двадцатитысячной толпой

Спешат по всем тропам и перевалам  
Поэты-недоноски, рифмачи.  
Иди на битву с поднятым забралом,

На них свои поэмы ополчи.  
Дай отповедь непрошеным нахам,  
Чей вздор грязнит поэзии ключи.

Итак, вперед, к блистательным победам!  
Со мной тебе и пища не нужна.  
На что желудок засорять обедом!

Домчат нас быстро ветер и волна.  
Советую, ступай за мною следом  
И убедись, что речь моя верна.

И я пошел, хоть, признаюсь, без веры,  
Однако впрямь – не лгал лукавый бог!  
Но вы представьте зрелище галеры,

Сколоченной из стихотворных строк!  
И всюду – только рифмы и размеры,  
Ни строчки прозы я найти не мог.

Обшивка – глоссы. Их на обрученье  
Невесте умилительно поют,  
И ей потом в замужестве мученье.

Гребцы – романсы<sup>38</sup>, бесшабашный люд!  
Они любое примут назначенье,  
Годны везде, куда их ни суют.

Корма была, – такого матерьяла  
Я не видал, но, видно, дорогой,  
И в нем сонетов череда мелькала

С отделкою неведомо какой,  
А на штурвал терцина налегала  
Уверенной и мощною рукой.

Являла рея длинное сплетенье  
Томительных элегий – горький стон,  
Похожий на рыданье, не на пенье.

И мне напомнил тех страдальцев он,  
Что на себе постигли выраженье:  
«Под реей перед строем проведен!»

Болтливый ракс был весь из редондилий,  
Они сплетались, гибки и стройны.  
В грот-мачту здесь канцону обратили,

На ней канат в шесть пальцев толщины,  
А снасти были, все из сегидилий,  
До тошноты нелепостей полны.

Из крепких стансов, правильной шлифовки,  
На славу были стесаны борта.  
По всем канонам, вместо облицовки,

На них была поэма развита.  
И твердые сонетные концовки  
Для паруса пошли взамен шеста.

Вились флажки цветистой полосой –  
Стихами разных форм, размеров, длин.  
Сновали юнги быстрою толпою,

И был украшен рифмой не один.

---

<sup>38</sup> *Романсы* – специфически испанская форма стиха, в котором парная строка заканчивается ассонирующей рифмой, непарные же вовсе не рифмуются.

А корпус представлялся чередой  
Причесанных и правильных секстин<sup>39</sup>.

И гость, моим довольный изумленьем,  
Дав оглядеть мне свой корабль чудной,  
Склонился мягким, вкрадчивым движеньем

И ласково заговорил со мной.  
И речь его могла казаться пеньем,  
Мелодии подобна неземной.

И молвил он: «Среди чудес вселенной  
Нет равного, и ни один народ  
Галеры столь большой и драгоценной

Не выводил на лоно синих вод:  
Лишь Аполлон рукою вдохновенной  
Подобные творенья создает.

На этом судне бог твой светлоликий  
Решил собрать поэтов всей земли.  
От Тахо до Пактола все языки

Уже мы обзрели и сочли.  
Когда мальтийских рыцарей владыке<sup>40</sup>,  
Великому магистру, донесли,

Что на Востоке поднят меч кровавый, –  
Созвав бойцов отважных легион,  
Им белый крест как символ веры правой

Напечатлеть велел у сердца он.  
Так, осажденный рифмачей оравой,  
Зовет своих поэтов Аполлон.

И вот я план составил для начала,  
Как лучших на подмогу нам собрать.

---

<sup>39</sup> *Секстина* – строфа, состоящая из шести одиннадцатисложных стихов, из которых первый рифмуется с третьим, второй – с четвертым, а последние два стиха рифмуются попарно.

<sup>40</sup> *...мальтийских рыцарей владыке...* – В 1530 году испанский король Карл V отдал совершенно опустошенный турками остров Мальту во владение рыцарскому иоаннитскому ордену. Этот орден, с той поры получивший название мальтийского, укрепил остров и в 1565 году успешно отбил нападение турок. В 1566 году магистр ордена Иоанн де ла Валлет построил на острове сильную крепость. На все эти события и намекает Сервантес. Отличительным признаком принадлежности к ордену служил вышитый на груди рыцарей белый крест.

Я не искал в Италии причала,

И Францию решил я миновать.  
Меня галера в Карфаген примчала.  
В Испании пополнив нашу рать

И тем подвинув начатое дело,  
Вернусь, не медля, к берегам родным.  
Твое чело, я вижу, поседело,

Ты старыми недугами томим,  
Но ты красноречив и будешь смело  
Способствовать намереньям моим.

Так в путь! Не будем тратить ни мгновенья!  
Вот полный список – мной составлен он.  
Ты назовешь достойных восхваления,

Когда внимать захочет Аполлон».  
Он вынул лист, и, полон нетерпенья,  
Увидел я длиннейший ряд имен:

Преславные сыны Андалусии,  
Бискайцы, астурийцы – все сполна.  
Кастильцы все, и среди них такие,

С которыми поэзия дружна.  
Меркурий молвил: «Это всё – живые,  
Отметь по списку лучших имена,

Кто среди них великие и кто нам  
Помочь могли бы отстоять Парнас?» –  
«Что знаю, – так ответил я с поклоном, –

О лучших расскажу тебе тотчас,  
Чтоб их прославил ты пред Аполлоном».  
Он стал внимать, я начал мой рассказ.

\* \* \* \* \*

Случается, стихи родит досада,  
Когда ж при этом пишет их глупец,

В таких стихах ни лада нет, ни склада.

Но я, терцины взяв за образец,  
Поведал все перед судом суровым,  
Чего понтийский и не знал певец.<sup>41</sup>

«О Аполлон, – таким я начал словом, –  
Не ценит чернь избранников твоих,  
Награда им – в одном венце лавровом.

Преследуем, гоним за каждый стих  
Невежеством и завистью презренной,  
Ревнитель твой не знает благ земных.

Давно убор я создал драгоценный,  
В котором *Галатея* расцвела<sup>42</sup>,  
Дабы вовек остаться незабвенной.

*Запутанная* сцены обошла.<sup>43</sup>  
Была ль она такой уж некрасивой?  
Была ль не по заслугам ей хвала?

Комедии то важной, то игривой  
Я полюбил своеобразный род,  
И недурен был стиль мой прихотливый.

Отрадой стал для многих *Дон Кихот* .  
Везде, всегда – весной, зимой холодной  
Уводит он от грусти и забот.

В *Новеллах* слышен голос мой природный,  
Для них собрал я пестрый, милый вздор,  
Кастильской речи путь открыв свободный.

Соперников привык я с давних пор  
Страшить изобретательности даром,  
И, возлюбив камен священный хор,

---

41 *Понтийский певец* – римский поэт Овидий Назон (43 до н.э. – 17 н.э.), сосланный императором Августом на побережье Черного моря, которое тогда носило название Понта Эвксинского (Гостеприимного моря).

42 ...«*Галатея*» расцвела... – Имеется в виду роман Сервантеса «Галатея».

43 «*Запутанная*» сцены обошла. – Комедия «Запутанная» («Путаница»), о которой Сервантес говорит также и в «Добавлении к Парнасу», до нас не дошла.

Писал стихи, сердечным полон жаром,  
Стараясь им придать хороший слог.  
Но никогда, из выгоды иль даром,

Мое перо унизить я не мог  
Сатирой, приносящею поэтам  
Немилости иль полный кошелек.

Однажды разразился я сонетом:  
«Убийственно величие его!»<sup>44</sup> —  
И я горжусь им перед целым светом.

В романсах я не создал ничего,  
Что мог бы сам не подвергать хуленью,  
Лишь *Ревность* принесла мне торжество.<sup>45</sup>

Великого *Персилеса* тисненью  
Задумал я предать — да служит он  
Моих трудов и славы умноженью.

Вослед Филиде песен легкий звон  
Моя Филена в рощах рассыпала,<sup>46</sup>  
И ветер уносил под небосклон

Мечтания, которых я немало  
Вверял теченью задушевных строк.  
Но божья длань меня не покидала,

И был всегда мой помысел высок.  
Влача покорно жребий мой смиренный,  
Ни лгать, ни строить козни я не мог,

Я шел стезею правды неизменной,  
Мне добродетель спутницей была.  
Но все ж теперь, представ на суд священный,

---

44 «Убийственно величие его!» — Сонет, который начинается этими словами, написан Сервантесом по случаю установки в севильском соборе катафалка Филиппа II. Этот шуточный сонет в руководствах по теории литературы и школьных хрестоматиях фигурирует как образец сонета «страмбото», то есть правильного сонета с прибавлением четверостишия.

45 ...«*Ревность*» принесла мне торжество... — Имеется в виду пьеса Сервантеса «Обитель ревности».

46 *Вослед Филиде песен легкий звон моя Филена в рощах рассыпала.* — Филида — главный персонаж романа Луиса Гальвеса де Монтальво (1549–1591) «Пастух Филиды». «Филена» — по-видимому, не дошедшая до нас пасторальная поэма Сервантеса.

Я не могу не вспомнить, сколько зла  
Узнал, бродя по жизненным дорогам,  
Какой урон судьба мне нанесла.

Привык мечтать я о большом и многом,  
Но не ропщу, пускай мой жребий мал», –  
Так в раздраженьи говорил я с богом,

И ласково тимбреец<sup>47</sup> отвечал:  
«Источник бед во мраке скрыт судьбою,  
Но каждому узнать их суждено.

Одни берут земное счастье с бою,  
Другим само является оно.  
И скорбь идет безвосточною тропею.

Но если благо смертному дано,  
Да соблюдет он свой удел счастливый!  
Равно достойно – блага добывать

Иль сохранять рукою бережливой.  
Уже ты, знаю, ведал благодать.  
Прекрасный дар Фортуны прихотливой

Лишь неразумный может утратить.  
Так вот, поэт, чтобы не знать урона,  
Скатай свой плащ и на него садись.

Рука судьбы порой неблагоприятна,  
Но вдруг удача поднимает ввысь  
Того, кто счастье заслужил законно».

Я отвечал: «О мой сеньор, взглядишь,  
В плаще ли я стою перед тобою?»  
И молвил он: «Нет нужды! Если ты

Одет лишь добродетелью одною,  
Твоей не видно нищей наготы.  
Ты независим, правишь сам собою,

Ты огражден от злобной клеветы».  
Склонясь, признал я мудрость изречения,  
Но все ж не сел, – и сядет разве тот,

---

47 Тимбреец – Меркурий.



Кто не богат, не знатен от рожденья,  
И сверху покровительства не ждет?<sup>48</sup>  
Злословие, достойное презренья,

Шипит, что не заслужен и почет,  
Который добродетели планета  
На жребий мой так щедро пролила.

Вдруг поражен я был потоком света  
И волнами нездешнего тепла,  
И музыкой, и кликами привета, –

Толпа прелестных юных нимф вошла.  
Как белокурый бог возвеселился!  
Прекрасней всех была меж них одна, –

Пышнее локон золотистый вился,  
Светлей сияла взоров глубина,  
И рядом с нею рой подруг затмился,

Как перед солнцем – звезды и луна.  
Она была всего прекрасней в мире,  
В блистающем убранстве, как заря,

Что расцветает в лучезарной шири,  
Алмазами и перлами горя,  
Которым равных нет ни на порфире,

Ни на венце сильнейшего царя.  
И все искусства – не было сомненья! –  
Узнал я в нимфах, шедших рядом с ней, –

Науки, что постигли все явления,  
Все тайны суши, неба и морей.  
И что ж? Они восторг и восхваленья

Лишь ей несли, молились только ей.  
Их все народы мира прославляют,  
Меж тем для них царица – лишь она,

---

48 *...сядет разве тот, кто... сверху покровительства не ждет.* – Сервантес намекает на свою неудачную попытку попасть в состав группы писателей, которую включил в свою свиту граф Лемосский, когда был назначен вице-королем в Неаполь (1610–1615).

И потому стократ обожествляют  
Ее одну земные племена.  
Моря пред нею тайны раскрывают,

Пред нею сущность рек обнажена.  
Ей зримы трав целительные соки,  
И свойства всех корней и камней.

Святой любви ей ведом жар высокий  
И бешенство губительных страстей.  
От глаз ее не скроются пороки,

И добродетель все вверяет ей.  
И ей доступен весь простор вселенной,  
У звезд и солнца тайн пред нею нет.

Ей ход судеб известен сокровенный,  
Влияние созвездий и планет.  
В ее границах строй их неизменный,

А ей ни меры, ни предела нет.  
Немало исполнясь удивленья,  
Крылатого спросил я болтуна:

«И я готов ей возносить моления,  
Но просвети мой разум: кто она?  
Земного ли она происхожденья

Иль, может быть, на небе рождена?»  
Бог отвечал: «Вопрос непостижимый!  
Глупец, ты с нею связан столько лет –

И сам же не узнал своей любимой!  
Ты не узнал Поэзию, поэт!» –  
«Ее не зная, я создал образ мнимый

Моей богини, – молвил я в ответ, –  
Ее увидеть сердце порывалось,  
Я думал, что Поэзия бедна.

Она мне без нарядов рисовалась –  
Одетой безыскусно, как весна.  
И в праздники и в будни одевалась.

Без всякого различия она». —  
«О нет, — сказал он, — ты судил неправо,  
Нет, чистая поэзия всегда

Возвышенна, важна и величава,  
И строгим целомудрием горда,  
Великолепна, как ее держава,

Где бедности не сыщешь и следа.  
И ей мерзка пронырливая стая  
Продажных рифмоплетов и писак.

У этих есть владычица другая,  
Своим жильем избравшая кабак.  
Завистливая, жадная, пустая,

Она напялит шутовской колпак  
Да бегают на свадьбы и крестины,  
В ней росту — фут, не более того.

Башка — пуста, зато уж руки длинны.  
Сказать она не может ничего.  
А уж когда почует запах винный

И Бахуса увидит торжество, —  
Выблевывает пьяные куплеты,  
Навозом весь забрасывает мир.

Но только первой молятся поэты,  
И лишь она камен зовет на пир.  
Она — краса и гордость всей планеты,

Она — богиня вдохновенных лир.  
Она мудрее, чище, совершенней,  
Прекрасней и возвышенней всего.

Божественных и нравственных учений  
В ней нераздельно слито существо.  
Ее советам чутко внимлет гений —

И строг и чист высокий стиль его.  
Она повелевает всей вселенной,  
С ней робкий — смел, и с нею трус — герой,

Она вселяет кротость в дух надменный,  
Спешит туда, где пламенеет бой,  
Бросает клич – и враг бежит, смятенный,

И кончен поединок роковой.  
Ей отдал соловей свои рулады,  
Пастух – свирель, журчание – поток,

Свой траур – смерть, любовь – свои улады,  
Ей Тибар отдал золотой песок,  
Милан – свои роскошные наряды,

Алмазы – Юг и пряности – Восток.  
Она умеет видеть суть явлений  
И там, где для мудрейшего темно.

Прославлен ум, увенчан ею гений,  
А льстит она и тонко и умно.  
В торжественных эпических сказаньях

Воспеты ею мудрый и герой.  
Для чувств она в сердечных излияньях  
Находит нежный и высокий строй.

Божественна во всех своих созданьях,  
Она сердца пленяет красотой.

### Добавление к «Парнасу»

После столь длительного путешествия я несколько дней отдыхал, и наконец вздумалось мне людей посмотреть и себя показать, выслушать приветствия друзей и, кстати, заметить на себе косые взгляды врагов, ибо хотя я ни с кем как будто не враждовал, однако вряд ли мне удалось избежать общей участи. Когда же я однажды утром вышел из монастыря Аточа, ко мне приблизился вылощенный, расфуфыренный, шуршащий шелками юнец лет двадцати четырех или около того; он поразил меня своим воротником<sup>49</sup>, таким огромным и до того туго накрахмаленным, что, дабы поддерживать его, казалось, нужны были плечи второго Атланта. Под стать воротнику были гладкие манжеты: начинаясь у самых запястий, они взбирались и карабкались

---

<sup>49</sup> ...он поразил меня своим воротником... – Большой плоеный воротник характерен для костюма дворянина эпохи Филиппа III. В литературе того времени, особенно в драматических произведениях, всякого рода злоупотребления модами подвергались осмеянию.

вверх по руке, словно для того, чтобы взять приступом подбородок. Не столь ретиво тянется обвивающий каменную стену плющ от подножья к зубцам, сколь сильно было стремление этих манжет, растолкав локтями локти, пробить себе дорогу вверх. Словом, голова юнца утопала в гигантском воротнике, а руки – в гигантских манжетах. И вот этот-то самый юнец, подойдя ко мне, важным и уверенным тоном спросил:

– Не вы ли будете сеньор Мигель де Сервантес Сааведра, тот самый, который назад тому несколько дней прибыл с Парнаса?

При этих словах я почувствовал, что бледнею, ибо у меня тотчас же мелькнула мысль: «А ну как это один из тех поэтов, о которых я упомянул или не упомянул в своем *Путешествии* ? Уж не желает ли он со мной разделаться?» Взяв себя в руки, я, однако ж, ответил:

– Да, сеньор, тот самый. Что вам угодно?

Выслушав мой ответ, юноша раскрыл объятия и обвил мне шею руками с явным намерением поцеловать меня в лоб, но ему помешал его же собственный воротник.

– Перед вами, сеньор Сервантес, верный ваш слуга и друг, – сказал он, – я давно уже полюбил вас как за ваши творения, так и за кроткий ваш нрав, о котором я много слышал.

При этих словах я облегченно вздохнул, и волнение в моей душе улеглось; осторожно обняв юнца, дабы не помять его воротник, я сказал ему:

– Я не имею чести знать вашу милость, хотя и готов служить вам. Однако ж по всем признакам вы принадлежите к числу людей весьма рассудительных и весьма знатных, а такой человек не может не вызывать к себе уважение.

Долго еще продолжался у нас обмен любезностями, долго еще мы с ним состязались в учтивости, и, слово за слово, он признался:

– Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что я милостью Аполлона – поэт, по крайней мере, я хочу быть поэтом, а зовут меня Панкрасьо де Ронсесвальес.

*Мигель.* Если б вы сами мне не сказали, никогда бы я этому не поверил.

*Панкрасьо.* Но почему же, сеньор?

*Мигель.* Потому что поэт, разряженный в пух и прах, – это большая редкость: в силу своего строгого и возвышенного образа мыслей питомцы вдохновения заботятся более о душе, нежели о плоти.

– Я, сеньор, – возразил юноша, – молод, богат и влюблен, и та неряшливость, какою отличаются стихотворцы, мне не к лицу. Молодости обязан я своим изяществом, богатство дает мне возможность блеснуть им, влюбленность же – враг неопрятности.

– Почти все, что нужно для того, чтобы стать хорошим поэтом, у вас есть, – заключил я.

*Панкрасьо.* Что же именно?

*Мигель.* Богатство и предмет страсти. Свойства богатого и влюбленного человека таковы, что они отпугивают от него скупость и влекут к щедрости, меж тем как половину божественных свойств и помыслов бедного поэта

поглощают заботы о хлебе насущном. А скажите на милость, сеньор, какой род поэтического мастерства вас более всего утруждает, или, вернее, услаждает ваш досуг?

На это он мне ответил так:

– Я не понимаю, что значит поэтическое мастерство.

*Мигель.* Я хочу сказать, к какому роду поэзии вы более всего склонны: к лирическому, героическому или же к комическому?

– Мне любой стиль дается легко, – признался он, – однако ж я охотнее упражняюсь в комическом.

*Мигель.* В таком случае у вашей милости должно быть уже немало комедий?

*Панкрасьо.* Много, но представлена была только одна.

*Мигель.* И имела успех?

*Панкрасьо.* У простонародья – нет.

*Мигель.* А у знатоков?

*Панкрасьо.* Тоже нет.

*Мигель.* В чем же дело?

*Панкрасьо.* Нашли, что рассуждения в ней длинные, стих не весьма исправен и мало выдумки.

– От таких замечаний не поздоровилось бы и Плавту<sup>50</sup>, – заметил я.

– Да ведь они не могли оценить ее по достоинству, оттого что из-за их же свиста представление не было окончено, – возразил он. – Со всем тем директор поставил ее вторично, но, несмотря на все его ухищрения, в театре собралось человек пять, не больше.

– Поверьте, ваша милость, – сказал я, – что у комедий, как у иных прелестниц, день на день не приходится: их успех столько же зависит от дарования автора, сколько и от чистой случайности. При мне одну и ту же комедию забросали камнями в Мадриде и осыпали цветами в Толедо – пусть же не смущает вашу милость первая неудача, ибо часто бывает так, что совершенно для вас неожиданно какая-нибудь комедия вдруг принесет вам известность и деньги.

– Деньгам я не придаю значения, – сказал он, – а вот слава мне дороже всего на свете: ведь это так приятно и так важно для автора – стоять у входа в театр, смотреть, как оттуда валом валят довольные зрители, и получать от всех поздравления.

– Подобного рода неудачи имеют и свою смешную сторону, – заметил я, – иной раз дают до того скверную комедию, что и публика не решается поднять глаза на автора, и автору совестно окинуть взглядом театр, да и сами исполнители ни на кого не смотрят, опозоренные и устыженные тем, что попались впросак и одобрили комедию.

– А вы, сеньор Сервантес, когда-нибудь увлекались театром? – спросил он. – Есть у вашей милости комедии?

---

<sup>50</sup> *Плавт* (254–184 г. до н. э.) – знаменитый римский комедиограф, комедии которого оказали значительное влияние на испанских драматургов XVI века.

– У меня много комедий, – отвечал я, – и если б даже их написал кто-нибудь другой, я все равно отозвался бы о них с похвалою: таковы, например, *Алжирские нравы*, *Нумансия*, *Великая турчанка*, *Морское сражение*, *Иерусалим*, *Амаранта*, или *вешний цвет*, *Рожа влюбленных*, *Единственная*, или *отважная Арсинда* и другие, коих названия я уже не помню. Но та, которую я ставлю выше всех и за которую я особенно себя хвалю, называется *Путаница* : смело могу сказать, что среди тех комедий плаща и шпаги<sup>51</sup>, какие были играны доныне, она занимает одно из первых мест.

*Панкрасьо*. А новые комедии у вас есть?

*Мигель*. Целых шесть да еще шесть интермедий.

*Панкрасьо*. Почему же их не ставят?

*Мигель*. Потому что директоры театров во мне не нуждаются, ну, а я не нуждаюсь в них.

*Панкрасьо*. Верно, они не знают, что у вашей милости есть новые пьесы.

*Мигель*. Знать-то они знают, да у них свои авторы, с которыми они друзья-приятели, с которыми очень легко ладить, и они от добра добра не ищут. Однако ж я предполагаю издать свои комедии, дабы то, что, мгновенно промелькнув на сцене, ускользнуло от внимания зрителей или же осталось для них непонятным, объяснилось при медленном чтении. К тому же всякой комедии, как и всякой песне, – свое время и своя пора.

На этом, пожалуй, и кончилась бы наша беседа, но тут Панкрасьо сунул руку за пазуху, достал аккуратно заклеенное письмо и, поцеловав, вручил его мне<sup>52</sup>; на конверте было написано следующее:

*Мигелю де Сервантесу Сааведра, на улице Уэртас, против домов, некогда принадлежавших марокканскому принцу, в Мадриде. За доставку – 1/2 реала<sup>53</sup>, то есть семнадцать мараведи.*

Эта приписка, указывавшая, что мне надлежит уплатить семнадцать мараведи, меня рассердила. Вернув письмо моему собеседнику, я сказал:

– Как-то раз, когда я жил в Вальядолиде, пришло письмо на мое имя, причем доплатить за него нужно было один реал. Приняла его и уплатила за доставку моя племянница, но уж лучше бы она его не принимала. Правда, после она ссылалась на мои же слова, которые она не раз от меня слышала, а именно:

---

51 *Комедии плаща и шпаги*. – Такое условное название было присвоено в XVII веке испанским драматическим произведениям, в которых действующими лицами являлись представители среднего дворянства. В спектаклях типичными принадлежностями костюма главного действующего лица были плащ и шпага.

52 ...*Панкрасьо... достал... письмо и, поцеловав, вручил его мне...* – В ту эпоху при получении королевского послания его клали на голову, а затем лобызали. По-видимому, обычай этот распространялся и на другую корреспонденцию.

53 *За доставку – 1/2 реала...* – В то время за доставку платил получатель корреспонденции. Реал – старинная серебряная монета, равная 34 мараведи.

что деньги приятно тратить на бедных, на хороших врачей и на оплату писем, все равно – от друзей или от врагов, ибо друзья предупреждают об опасности, письма же врагов дают возможность проникнуть в их замыслы. Ну так вот, распечатал я конверт, а в нем оказался вымученный, слабый, лишенный всякого изящества и остроумия сонет, в котором автор бранил *Дон Кихота*. Мне стало жаль моего реала, и я велел не принимать больше писем с доплатой за доставку. А потому, ваша милость, если вы намереваетесь вручить мне что-нибудь в этом роде, то лучше возьмите письмо обратно: заранее могу сказать, что оно не стоит причитающихся с меня семнадцати мараведи.

Сеньор Ронсесвальес весело рассмеялся и сказал:

– Хотя я и поэт, но все же не такой бедный, чтобы польститься на семнадцать мараведи. Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что письмо это не от кого-нибудь, а от самого Аполлона: он написал его назад тому недели три на Парнасе и вручил мне его для передачи вашей милости. Прочтите же его, – я уверен, что оно доставит вам удовольствие.

– Я готов последовать вашему совету, – сказал я, – но сперва доставьте же и вы мне удовольствие и расскажите, как, когда и зачем попали вы на Парнас.

Вот что он мне сообщил:

– На ваш вопрос, как я туда добрался, отвечаю: морем, ибо я и еще десять поэтов нарочно для этого зафрахтовали в Барселоне фрегат. На вопрос – когда, отвечаю: шесть дней спустя после сражения между хорошими и плохими поэтами. На вопрос же – зачем, отвечаю: к этому меня обязывало мое ремесло.

– По всей вероятности, господин Аполлон рад был вас видеть? – осведомился я.

*Панкрасьо.* Да, хотя он был очень занят, и он и госпожи Пиэриды<sup>54</sup>, ибо все они вспахивали и посыпали солью поле битвы. Я спросил, для чего это, и он мне ответил, что, подобно как из зубов Кадмова дракона<sup>55</sup> нарождалось множество воинов, подобно как у гидры<sup>56</sup>, которую убил Геркулес, на месте каждой отрубленной головы вырастало семь новых, а из капель крови, что лилась из головы Медузы, нарождались змеи, которые потом заполонили всю Ливию<sup>57</sup>, так точно из гнилой крови плохих поэтов, уничтоженных в этом бою, стали выползать новые стихоплеты, размерами и всем своим поведением напоминавшие ползучих гадов, и этот гнусный приплод чуть было не

---

<sup>54</sup> *Пиэриды* – музы. Первыми почитателями муз, как гласит миф, были фракийские певцы, которые жили в Пиэрии у подножия Олимпа.

<sup>55</sup> *Кадмов дракон.* – Желая принести жертву богам, Кадм послал некоторых своих спутников к источнику Арея за водой, но они были убиты драконом Арея, который сторожил источник. Тогда Кадм пошел туда сам и убил дракона. По совету Афины-Паллады он посеял зубы дракона, и из них выросли вооруженные люди, которые стали бороться друг с другом и почти все погибли.

<sup>56</sup> *Гидра* (Лернейская) – змея с множеством голов, из которых одна была бессмертна. Геркулес выгнал гидру калеными стрелами из логовища и отрубил ей головы. Но так как вместо одной отрубленной головы тотчас же опять вырастали две, то он обжег ей шеи горящими головнями, а на бессмертную голову навалил огромный камень. – Медуза – страшилище со змеями вместо волос.

<sup>57</sup> *Ливия.* – Древние греки так называли Африку.



заполонил всю землю, почему и пришлось перепахивать это место и посыпать солью, как если бы там прежде стоял дом предателя.

Выслушав этот рассказ, я вскрыл конверт и прочитал следующее:

*Аполлон Дельфийский*<sup>58</sup>  
*шлет привет Мигелю де Сервантесу Сааведра*

Податель сего, сеньор Панкрасьо де Ронсесвальес, расскажет Вам, сеньор Мигель де Сервантес, чем я был занят в тот день, когда он явился ко мне со своими друзьями. Я же скажу, что я Вами весьма недоволен, ибо Вы обошлись со мной неучтиво: Вы отбыли с нашей горы, не простившись ни со мною, ни с Музами, хотя Вам хорошо известно, как расположен к Вам я и, следственно, мои дочери; впрочем, если Вы спешили на знаменитые неаполитанские торжества<sup>59</sup> – повидаться со своим меценатом, великим графом Лемосским, то это причина уважительная, и я Вас прощаю.

После того, как Вы покинули наши края, на меня со всех сторон посыпались беды, и я очутился в весьма затруднительном положении, главным образом потому, что мне предстояло истребить и уничтожить потомство погибших на поле брани плохих поэтов, рождавшееся из их крови, но теперь, хвала небесам и моей находчивости, порядок уже восстановлен.

То ли от шума битвы, то ли от испарений, поднимающихся от земли, пропитанной вражьей кровью, у меня начались головокружения, и от них я словно бы поглупел и не могу сочинить ничего приятного и ничего полезного. А потому, если Ваша милость заметит там, у себя, что иные поэты, хотя бы из числа самых знаменитых, пишут и сочиняют всякий вздор и разные безделицы, то в вину им этого не ставьте, ниже пренебрегайте ими, но отнеситесь к ним снисходительно, ибо если уж я, отец и изобретатель поэзии, горожу чепуху и кажусь дурачком, то не удивительно, что кажутся таковыми и они.

Посылаю Вашей милости мой указ, содержащий в себе льготы, правила и наставления для поэтов: Вашей милости надлежит беречь его и исполнять буквально, для чего я предоставляю Вам все требующиеся законом полномочия.

Иные из поэтов, приезжавших ко мне с сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес, жаловались на то, что их нет в списке, посланном в Испанию Меркурием, а также на то, что Ваша милость ни словом о них не обмолвилась в своем *Путешествии*. Я им сказал, что виноват в этом я, а не Ваша милость, и что это поправимо при условии, если они прославят себя своими произведениями, ибо удачные произведения сами принесут им широкую известность и славу, и тогда им уже не придется выпрашивать себе похвалу.

Далее: если случится оказия, то я пришлю Вам грамоту с новыми льготами

---

<sup>58</sup> *Аполлон Дельфийский*. – Аполлону был посвящен в Дельфах храм, в котором находился оракул.

<sup>59</sup> *Неаполитанские торжества* – по случаю прибытия туда нового вице-короля графа Лемосского.

и уведомлю обо всем, что произойдет на нашей горе. Ваша милость также, надеюсь, известит меня о своем здоровье, а равно и о здоровье всех своих приятелей.

Славному Висенте Эспинелю<sup>60</sup>, одному из самых старых и верных моих друзей, прошу передать привет.

Если дон Франсиско де Кеведо<sup>61</sup> еще не уехал в Сицилию, где его ожидают, то пожмите ему за меня руку и скажите, чтобы он не преминул со мной повидаться, — ведь он будет от меня совсем близко, — а то когда я последний раз приезжал в Мадрид, вследствие его внезапного отъезда в Сицилию нам так и не удалось побеседовать.

Если Ваша милость встретится с кем-либо из тех двадцати<sup>62</sup>, что перешли в стан врага, то не говорите ему ничего и не обижайте его: ему и без того не сладко, ибо перебежчики, подобно бесам, вечно пребывают в тоске и смятении.

Берегите, Ваша милость, свое здоровье, следите за собой и бойтесь меня, особенно в жаркую пору, ибо тогда я уже не помню себя и не считаюсь ни с дружескими своими привязанностями, ни с велениями долга.

С сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес водите дружбу и передайте ему содержание этого письма; он богат и потому может позволить себе роскошь быть плохим поэтом. Засим да хранит господь Вашу милость, чего я Вам от души желаю.

Парнас, 22 июля 1614 года — день, когда я надеваю шпоры, дабы подняться на Сириус.

Слуга Вашей милости светлейший *Аполлон*.

На особом листе было написано следующее:

#### УКАЗ АПОЛЛОНА, СОДЕРЖАЩИЙ В СЕБЕ ЛЬГОТЫ. ПРАВИЛА И НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ

Во-первых, поэтам, славящимся своею неопрятностью, надлежит прославиться также и своими стихами.

*Item*, если кто-либо из поэтов скажет, что он беден, то все должны верить ему на слово, не требуя от него никаких особых клятв и уверений.

Всем поэтам вменяется в обязанность иметь кроткий и тихий нрав, и пусть не гnevаются они даже в том случае, если на чулках у них спустятся петли.

*Item*, если кто-либо из поэтов, зайдя к своему другу или знакомому, застанет его за принятием пищи и тот пригласит его к столу, а поэт поклянется, что уже ел, то не верить ему ни под каким видом, а принудить есть силой,

---

<sup>60</sup> Висенте Эспинель — испанский писатель (1550–1624), автор плутовской повести «Жизнь эскудеро Маркоса де Обрегона» (1618), друг Сервантеса.

<sup>61</sup> Дон Франсиско де Кеведо (1580–1645) — знаменитый испанский сатирик, служивший в это время в Сицилии у вице-короля герцога Осунского. В июле 1614 года он находился в Мадриде и собирался в скором времени вернуться на место службы.

<sup>62</sup> Если Ваша милость встретится с кем-либо из тех двадцати... — намек на эпизод сражения хороших и дурных поэтов в «Путешествии на Парнас».

каковое насилие особой неприятности ему не доставит.

*Item*, самый бедный из всех поэтов, каких только видывал свет со времен Адама и Мафусаила, имеет право сказать, что он влюблен, хотя бы это было и не так, и назвать свою даму как ему заблагорассудится: хочет – Амарилис<sup>63</sup>, хочет – Анардой, хочет – Хлорой, хочет – Филисой, хочет – Филидой, даже Хуаной Тельес – словом, как ему вздумается; спрашивать же с него в сем случае резонов воспрещается.

*Item*, повелеваю – всех поэтов, независимо от их чина и звания, почитать за дворян, ибо право на то дает им их благородное занятие, – ведь и так называемых подкидышей принято у нас почитать за христиан.

*Item*, да остерегутся поэты сочинять стихи в честь принцев и вельмож, понеже ни лесть, ни ласкательство не должны переступать порог моего дома, – таково мое желание и таково мое последнее слово.

*Item*, тот комический поэт, коему посчастливилось увидеть на сцене три свои комедии, имеет право бесплатно посещать театры и занимать стоячие места; по возможности же следует предоставлять ему бесплатно и сидячие.

*Item*, предупреждаю, что буде кто-либо из поэтов пожелает выдать в свет книгу своего сочинения, то пусть он не воображает, что, посвятив ее какому-либо монарху, тем самым он обеспечил ей успех, ибо если она плоха, то никакое посвящение ее не спасет, хотя бы она была посвящена настоятелю Гуадалупской обители.

*Item*, предупреждаю, что ни один поэт не должен стыдиться своего звания, ибо если он хорош, то он достоин похвалы, если же плох, то все равно найдутся такие, которые его похвалят, – было бы корыто, и т. д.

*Item*, все хорошие поэты могут располагать мной и всем, что ни есть на небе, по своему благоусмотрению; настоящим доводится до их сведения, что они вольны приписывать свойства моих лучевидных кудрей<sup>64</sup> волосам своей возлюбленной и уподоблять ее очи двум солнцам: таким образом, вместе со мной, их окажется три, и земля будет ярче освещена; звездами же, знаками Зодиака и планетами они могут пользоваться как им угодно, и так, незаметно для них самих, образуется новая небесная сфера.

*Item*, всякий поэт, которому собственные его стихи доказывают, что он поэт, волен чтить себя и глубоко уважать, согласно поговорке: дрянь тот, кто дрянью себя почитает.

*Item*, всем возвышенным поэтам воспрещается бродить по людным местам и читать свои стихи, ибо истинным питомцам вдохновения подобает читать их в афинских дворцах, а не на стогнах.

*Item*, матерям, у которых дети – шалуны и плаксы, особо рекомендуется пугать и страшить их новой букой, а именно: «Берегитесь, дети! Вон идет поэт Имярек! Своими скверными стихами он вас живо сбросит в тартарары».

---

63 Амарилис, Анарда, Хлора, Филиса, Филида – обычные имена пасторальных героинь. – Хуана Тельес – распространенное испанское женское имя.

64 ...свойства моих лучевидных кудрей... – Аполлон – бог солнца. Этим объясняется и следующая фраза: «... вместе со мною их (солнц) окажется три».

*Item* , если в постный день поэт, сочиняя стихи, грыз ногти, то это отнюдь не значит, что он оскормился.

*Item* , если кто-либо из поэтов слывет драчуном, хвастунишкой и забиякой, то пусть он на этом славном поприще сломит себе шею и да отлетит от него слава, которую он мог бы стяжать хорошими стихами.

*Item* , предупреждаю, что поэта, который присвоил чужой стих, за вора почитать не следует, а вот если он украл чужую мысль или целую строфу, тогда он прямой Как.

*Item* , всякий хороший поэт, – хотя бы он и не сочинил героической поэмы и не наводнил мировую сцену великим множеством произведений, – за то немногое, что им создано, может получить название божественного, подобно Гарсиласо де ла Вега<sup>65</sup>, Франсиско де Фигероа, полководцу Франсиско де Альдана<sup>66</sup> и Эрнандо де Эррера<sup>67</sup>.

*Item* , поэтам, пользующимся покровительством кого-либо из сильных мира сего, советую ходить к нему пореже, ничего не просить и всецело положиться на судьбу, ибо тот благодетель, который питает всех земляных и водяных червей, прокормит и поэта, будь он так же прожорлив, как червь.

Я прочитал вышеприведенный указ, переданный мне сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес, и мы расстались друзьями, уговорившись в ответном послании сообщить господину Аполлону все столичные новости. Объявляю сие во всеобщее сведение, дабы все его приверженцы последовали нашему примеру.

---

<sup>65</sup> *Гарсиласо де ла Вега* – испанский поэт (1503–1536).

<sup>66</sup> *Франсиско де Альдана* – испанский поэт и военный деятель. Погиб в сражении с маврами при Алькасаркивире в 1578 году. Автор поэмы «Анджелика и Медор», написанной под влиянием поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

<sup>67</sup> *Эрнандо де Эррера* – испанский поэт (1534–1597).